

№ 11 (№ 2/2020)

БЕРЛИН.БЕРЕГА

Литературный журнал

Literaturzeitschrift BERLIN.BEREGA



В НОМЕРЕ:

Максим БИЛЛЕР

„Эсра“, главы из романа

Ольга ПОЛОВИНКИНА

„Новый тип актуальности — из глубины частного опыта“, статья о лауреате Нобелевской премии по литературе 2020 года Луизе Глик

Разговор об эмигрантской литературе

Представительницы шести языков рассказывают о ситуации в Германии

Евгений ГОРОДЕЦКИЙ

„А если их никак не называть“, стихи



Редакция | Redaktion:

Главный редактор | Chefredakteur: **Григорий Аросев** | **Grigorii Arosev**

Редакторы | Fachredakteure:

Поэзия | Poesie: **Женя Маркова** | **Genia Markova**

Проза | Prosa: **Мария Родина** | **Maria Rodina**

Переводы | Übersetzungen: **Эдуард Лурье** | **Eduard Lurje**

Критика, публицистика | Kritik, Publizistik: **Ирина Мург** | **Irina Murg**

Кино | Kino: **Вера Колкутина** | **Vera Kolkutina**

Вёрстка | Layout und Satz: **Мария Аросева** | **Maria Aroseva**

Художник | Illustrationen: **Лилия Лурье** | **Lilia Lurje**

Тексты на немецком языке | Deutsche Texte: **Герд Буссинг** | **Gerd Bussing**

Herausgegeben von der Redaktion der Zeitschrift

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

Diese Zeitschrift ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gesamtherstellung: Simon Verlag für Bibliothekswissen,

Riehlstraße 13, 14057 Berlin, Deutschland

www.simon-bw.de | www.berlin-berega.de | berlin.berega@gmail.com

Druck und buchbinderische Verarbeitung Buchbinderei Art-Druk, Stettin

ISSN 2366-3510

Copyright © 2020 Simon Verlag für Bibliothekswissen, Berlin

Copyright Texte © 2020 liegt bei Autoren

Alle Rechte vorbehalten

Содержание

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ЕВГЕНИЙ ГОРОДЕЦКИЙ — А если их никак не называть, стихи ..	5
ЛЕНА БЕРСОН — День совершеннолетний, стихи	14
МАКСИМ БИЛЛЕР — Эсра, главы из романа.....	20
ЗИНОВИЙ САГАЛОВ — Госпожа Пышечка, рассказ	47
АНЖЕЛИКА АСТАХОВА — Om mani padme hum, стихи	65
ЕЛИЗАВЕТА КУРЬЯНОВИЧ — Der rote Faden, стихи.....	69
<i>Авторы Содружества русскоязычных литераторов Германии:</i>	
МИХАИЛ ШЛЕЙХЕР — Три рассказа для чтения со сцены	74
ДАНИИЛ БЕНДИЦКИЙ — Ракета типа «Ре минор», рассказ	80
ДМИТРИЙ ДРАГИЛЁВ — Пунктирным ритмом, стихи.....	89
МИХАИЛ ХОХЛОВ — Мелатонический Трибмих, стихи	92
УЛЬЯНА ОБЫНОЧНАЯ — Однажды, в декабре, стихи.....	94

ДЕБЮТ

ЕЛЕНА КОРОЛЁВА — Гусеницы в голове, рассказ	96
ВИТАЛИЙ КРОПМАН — Гусь лапчатый, рассказ.....	106
МАРИНА СОЛНЦЕВА — Треники, рассказ	116

ПЕРЕВОДЫ

КУРТ ТУХОЛЬСКИ — Danach / Потом, стихотворение.	
Переводы: Сергей Страхов, Людмила де Витт	122
ФРАНК ВЕДЕКИНД — Die Schutzimpfung / Предохранительная прививка, рассказ. Перевод Ольги Мищенко	128
РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ — Стихи. Переводы Ирины Ивановой	138
ЛУИЗА ГЛИК — Стихи, переводы Славы Ковальского	146

КОНКУРС ЭССЕ К 250-ЛЕТИЮ БЕТХОВЕНА

ИРИНА МУРГ — Итоги конкурса	149
НЕЛЛИ ШУЛЬМАН — Одинокий клич трубы	150
СЕРГЕЙ СТРАХОВ — Музыка навсегда	153
ЗИНАИДА СТАМБЛЕР — Метроном вечности, или „Одной любви музыка“	156

ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

Д-Р ОЛЬГА ПОЛОВИНКИНА — Новый тип актуальности — из глубины частного опыта, о Луизе Глик, лауреате Нобелевской премии по литературе 2020 года	158
ИРИНА МУРГ — Нарративы будущего в современной немецкой прозе, книгообзор	162
МАЙЯ ПАИТ «Не тот это город и полночь не та». (Петер Михальцик, <i>Die Liebe in Gedanken. Die Geschichte von Boris Pasternak, Marina Zwetajewa und Rainer Maria Rilke</i>)	171
ЕЛЕНА ЛЕВЧЕНКО — Белые пятна души. (Катерина Поладян, <i>Hier sind Löwen</i>)	185
НИНА КАЛАУС — Между Достоевским и Довлатовым: почему «Толмач» не стал бестселлером? (Михаил Гиголашвили, <i>„Толмач“</i>)	192
МАРИНА РОСИНА — Пишу, следовательно, существую. (Максим Биллер, <i>Wer nichts glaubt, schreibt</i>)	195

КИНО

ВЕРА КОЛКУТИНА — Фильмы ужасов как антистресс, антидепрессант и градус благополучия горожан, кинообзор	199
---	-----

«Очень часто нам советуют написать о своём заграничном опыте. Похоже, это всё, чего от нас ждут». Крулый стол; участвуют представительницы различных языков: Стефани Люкс, Изаскун Грасиа, Катерина Ритц-Ракуль, Каролина Голимовска, Эрика Зингано, Ирине Беридзе	207
--	-----

Zusammenfassung, информация о подписке	224
---	-----

Евгений Городецкий

На Рождество холодные дожди идут всю ханукальную
неделю,
и бродит под дождём Салман Рушди — его читают
персы и евреи.
Им снятся «Сатанинские стихи», похожие на суры из
Корана
и грезят о прожитом старики — спать уже поздно,
просыпаться рано.
Младенцам всё равно, что есть звезда над горизонтом в
небе Вифлеема —
Есть в мире и другие города, другие короли и королевы.
Нет времени считать дары волхвов и проверять их
золото на пробу
в молитвах, миллионом важных слов, и клятвами быть
верными до гроба.
Идут дожди, не превращаясь в снег на Хануку.
Рождественская слякоть.
Нет разницы, какой бесстрастный век съедает
человеческую мякоть.

* * *

Кто просил наливать тебя водку в чайную чашку
тягучей струёй моей замороженной крови?
У тебя от тяжёлых родов на горле растяжки и спайки на
связках от медленной песни вдовьей.
Нарезай ломти хлеба, наломай дров скандалов и зажги,
гори ясно до крыши. Я хочу в интермеццо
слышать отзвуки всхлипов и хоралы вандалов,
плач бухой Ярославны, так уставшей от стресса.

Евгений Городецкий (1963, Житомир). Поэт, писатель, бизнесмен, благотворитель. Автор шести поэтических сборников. Публиковался в печатных и сетевых изданиях «Мастерская», «Заметки по еврейской истории», «Хороший текст», «Еврейский Житомир». Занимается социальными проектами. В Германии с 1991 года. Живёт в Дортмунде.

Я потом расчесшу твои косы и возьму себя в руки, принимая
в оброк и оплату тепло и объятья.
А теперь замолчи, не нужны мне ни рифмы, ни громкие звуки.
Я снимаю с тебя неудобное тесное платье.

* * *

Вы просили отдать вам должное, сёстрам вашим всем
по серьгам,
до предела дойдя возможного без спектаклей и вечных драм.
Отдавая долги по пятницам — до шаббата, до первых звёзд,
по напиткам решаю лакмусом, по закуске — на вес и рост.
Просыпаюсь под утро, в сумерках, проверяю свой эпикриз
Те, кто должен был, ночью умерли, но под вечер придут, на бис.

* * *

Мне сказано молчать. И я молчу и никому не расскажу, что было.
Я пробовал тебя, как алычу, а руки пахли земляничным мылом.
У Солнца не было других забот — подглядывать за нами через
шторы,
а губы затыкали в крике рот, дав целых пять минут для разговора.
На кухне чайник, курский соловей, свистел до полного
изнеможенья.
Как мало было ночи, мало дней, зато лодыжки были и колени,
светящиеся в сумерках Москвы в квартире возле ресторана «Прага».
Овации ладонями лисствы за ложь, которая всегда во благо.

* * *

Я тебе обещал, что не буду скучать, но скучаю.
Лист упал, и у карих каштанов в блестящих боках
отражается тёмное небо, и лают дворняги,
очутившись под утро неведомо как в Гончих псах.
В лужах тонет асфальт, разрисованной контурной картой
размечая парсеками быстрый маршрут до Луны.
Ты приснилась вчера обнажённой богиней Астартой,
воздух пахнет тобой и предчувствием новой войны.
Обещал не скучать. Грош цена необдуманнм клятвам,

надо было не кровью — летним мёдом и молоком.
Ты приснилась вчера просветлённым уже Бодхисатвой,
в женском теле и с фиговым свежим листком.
Обещал не скучать. Но, по-прежнему, тихо скучаю.
Расстилаю постель и ложусь к тёмным окнам спиной.
Я читал обо всём ещё в книге пророка Исани,
он давно написал, что закончится только тобой.

* * *

Пусть Созвездие Рака подсветит Созвездию Щуки,
Намекая, что Лебедь старался, но так и не сжёт
ни звезды и ни спички, стрелы для согнутого лука,
чтобы сходу попасть в свежескошенный с вечера стог
на краю чернозёмных пластов украинского поля,
ожидающих дождь, но заточенных на суховей,
принесённых несчастным Назаром Стодолей,
казакон из хазар и черкасско-черкесских кровей.
Лебедь чует Днипро, пахнет ряской и свежим навозом,
на котором взойдут выше крыши соломенных хат сорняки.
У Тараса на русском выходит чудесная проза,
но ему признаваться в Черкассах, увы, не с руки.
Катерина поёт а капелла романс о Богдане Хмельницком,
без начала конец, без конца не бывает начала начал.
Соберутся на сход и за всех отоварятся списком
царь Молох и братан его младший Сарданапал.
Свистнет Рак, собирая концертное трио
на предвыборный митинг за гетьмана всех Украин.
А на звук обернётся, взмахнув бакенбардом, но мимо
проезжающий в Умань уездный хабадный раввин.
В небе стонет Тарас, распрягая Богдану кобылу,
ляхам нету до них ни времён, ни наручных часов.
Рак свистит и подходит лесами к Чигирину с тыла,
закрывает открытую турками дверь на засов.
Щука рвётся в сети, бьёт хвостом колокольные звоны,
Лебедь капляет кровью казахских солёных ветров
и выходит Остап, не на бис, а на смерть и поклоны,
на начало начал, на конец без основы основ.

* * *

У тебя веслом стёрты линии напрочь на уставших
гresti руках. Где там любовь, где жизнь, где планы на ночь,
где ими внушённый страх, покрывающий страшный и
дымный город ерушалаимской тьмой. Только шёпотом кто-то,
похожий на вора, говорит: «Я рядом с тобой». От него всегда
было мало толку, он мешал вино с коньяком, щётку зубную
бросив на полку, пса называл мудаком, варил картошку, не
чистя, в мундирах, макал её в крупную соль, и наплевал на все
беды мира, Аргентина — Ямайка, пять — ноль. Но когда ты
приходишь со своими руками, стёртыми вёслами в кровь, он
приносит бинты и какую-то мазь из печени чёрных сомов,
наливает чай в щербатую чашку с надписью Аэрофлот, у него
тебе сегодня поблажки, он сегодня слепой, как крот, и не хочет
видеть твои недостатки и шрамы линий любви. Он бинтует и
ставит на них заплатки. Они заживут. Жди.

* * *

Мы можем превратить эту историю в фарс и говорить
о любви на фарси. Я не помню, доехал ли Пушкин в Карс,
или застрял в грязи на Руси, беспомощно хлопал себя по
бокам, измазанными глиной дорог из Петербурга до Карачая,
невесть куда, где застанет Б-г. В Полтаве встретился дух
Мазепы, пивший с ним у еврея в шинке. Просил привезти
из Москвы газеты, прятал нож в рукаве. Поминал какого-то
мутного шведа, кричал и бился: «Зачем?» и спал головой на
столе до обеда, ел карасей и пел длинные песни о ковыльных
травках в дикой и вольной степи, о Матрёне, о вкусе полынной
отравы, о последней любви. Лучше в Одессу, в пыль Хаджибея,
в ракушки жемчужной рай. У моря прохладнее, не теплее.
Вобюлиманс* за край. Езжай, не езжай, результаты те же,
выстрел и рёв толпы. Кого там везут? Самого Грибоеда.
Руки его чисты. Счастье его в пронзительном чёрном мглой
накрывает Тифлис. Надо бы выпить за поминовение духа. До
положения риз. Чёрное платье, чёрная речка, чёрная кровь на
снегу. «Господи, дал бы ему осечку. Извини, сынок, не могу».

* Вобюлиманс — анаграмма из письма Елизаветы Воронцовой Пушкину

Дай мне до

Дай мне до. Мы разыщем Годо.
До того, как доплыть не успеем, дотянуться до кромки воды.
До того, как лакеи в ливреях поседеют до цвета слюды.
Я ошибся гостиничной дверью и увидел, что это не ты.
Дай мне ре. Мы в игре.
Пусть готовятся певчие птицы к новоселью на липе в саду.
Нас, таких, на земле единицы. Нагадает слепой какаду
мне вокруг незнакомые лица. Остальные дождутся в аду.
Дай мне мил. Я насильно не мил.
Оставайся в квартире с другими, веселящими лучше меня.
На звонке уже выцвело имя. Без него опустела земля.
В нашем городе вечные зимы и четыре сентябрьских дня.
Дай мне фа. Скоро будет лафа.
И мостами молочные реки свяжут хлебные города.
Колобок наскребут по сусекам, он укатится в зале суда.
Попадёт под трамвай этим летом где-то на Патриарших
прудах.
Дай мне соль. Я встречался с Ассоль.
Но из красок была только охра. Обжигали до цвета бордо.
А Ассоль так по алому сохла и глазами искала Годо,
что, устав, вологодская ВОХРа отпустила её на УДО.
Дай мне ля. Снятся мне тополя.
Пух, как снег, вдоль неровных бордюров. Поджигай,
и огонь побежал,
оттеня заплат кракелюры и абрисы неведомых стран
от ворот дома бабушки Суры до сверкающей Адельбаран.
Дай мне си. И назад не проси.
Всё закончится. Сказано Шломо, что проходит и это, и то.
Пахнет кофе, истомит истома. Март орёт а капеллой котов.
Проводила меня, полусонно, на пижаму набросив пальто.

* * *

Не звенело совсем ничего.
Ни штыком, ни сапёрной лопаткой.
В мокалинах раздетая скво
проводжала до первой палатки.
Поправляла перо в волосах,
быть бы живу, а так не по чину.
Стали редкими в этих лесах
меднолицые сну — мужчины.
Покахонтас живёт у Днепра
ловит рыбу в дубовой пироге
и садится, скрестив, у костра,
по-индейски нестройные ноги.
Ночью звякнул медвежий капкан —
до колен капитан Очевидность —
залетел пограничник Иван,
заорав, что болит и обидно.
Но теперь уж ори, не ори,
задувает лучину девица
и в оленье меха — раз, два, три —
к капитану под мышку ложится.
Вот с тех пор и живут на Днепре
полукровки невиданной масти,
мёрзнут жутко от выюг в январе,
а июльская спека — несчастье.
Курят трубки и пьют самогон.
Власть любая давно не от Б-га
и при каждом царе им вагон
или в ссылку прямая дорога.
Их морщины — кора у дубов,
волоса их кудрявей берёзы.
И от их поминальных столов
прямо в Припять вливаются слёзы.

* * *

Смотри в окно, там ангел пролетел, с десятого, решив,
что он пловец,
а ниже море. Крылья не раскрыты и платье белое, как
будто под венец
и на девятом вскрикнула Ассоль, не ожидавшая сегодня
ситуации такой,
а на восьмом задёрнули гардины и дверь балкона
поскорее на крючок кривой.
Седьмой этаж молчал, в разбитых летом окнах
отражались части неба
и на балконе ветер крутил мозги повесившейся в мае
вобле. Так нелепо
с шестого полетел букет ему вдогонку и закричали
люди громко «Браво!»
На пятом умирал забывший всех и вся больной,
просивший безуспешно об отраве.
Четвёртый пил по-чёрному четвёртый день подряд, не
открывая двери разным гадам,
стучащим снизу шваброй в серый потолок, орал в окно,
что красный флот попал в засаду.
На третьем этаже, в ментами опечатанной квартире,
резвились мышцы, хороня пятнистого кота,
а на втором курила бабка трубку мира и на портрете
развевалась Льва Толстого борода.
На первом в нищем супермаркете стучали громко кассы
и отпевали умершие цены на вчера.
А ангел долетел, он не разбился? Раскрылись крылья?
Прости, похоже я забыл и перепутал всё со сна.

* * *

Когда слоны придут на Крайний Север
за дошпайком, на вековые льды,
я накошу им незамёрзший клевер
и попрошу слонёнка за труды.
Качаясь мерно на затылке сером
я буду видеть за полсотни миль
медведей белых небольших размеров,

ловящих на живца креветку-криль.
Слонёнок счастлив — в холод стынет муха
и бить не надо по бокам хвостом,
а можно пить горящую самбуку
и песни петь о родине потом.
О дивной красоте в долине Ганга,
что в Конго где-то родственники есть,
а ночью тёплый остров Чунга-Чанга
подсветит фейерверком Южный Крест.
Я буду слушать, в такт ему кивая,
а думать, как и прежде, о своём:
когда придёт посылка из Китая
мы со слоном от вируса умрём.



Лена Берсон

День совершеннолетний

«Я сам», — говорит, отталкивая плечом,
А сам проливает кофе, роняет вилку.
«Ну что ты стоишь? Не видишь, что я никчём...»
Не вижу.

Выносливости учила ручная кладь,
А бедности и смиренности — её пропажа.
Где выкрутишься пожить и попровожать,
Там выучишься однажды любить пейзажи.

Там высунешься в окошко, придя в музей,
И думаешь, как беспечно стареет в раме
Обиженный мир — не то чтоб других живеи.
Упрямей.

* * *

Надеть сапоги наизнанку и шапку навыворот,
В карманы, прижатые к телу, попрятать собак;
Рукав окунётся в крыжовник и пригоршню выудит.
Хочу, чтобы так, не хочу, чтобы было не так.

Глядеть из окошка на станцию — эта не та ли та,
Где мы проезжали сначала, но ближе к концу
Она разлетелась и позолотилась Италией,
И тёплые тени Тосканы припали к лицу?

Лена Берсон (1968, Омск). Окончила журфак МГУ, в 1991-1996 году была редактором газеты «Пармантии» при Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой. Редактор новостного сайта. Подборки стихов выходили в журналах «Арион», «7 искусств», «Иерусалимский журнал» и др. Лауреат и дипломант Волошинского конкурса (2017, 2019), финалист конкурса «Заблудившийся трамвай» (2019). Живёт в Израиле.

Вода и доска, и стена до заката нагреются,
А ручки дверные и слёзы — те наоборот.
Мы думали, помните, будто бы что-то не клеится.
Всё будет не то что иначе, а всё же вот-вот.

Покажется лёгким, чему не положено опыта,
Как в прорезях воздуха зазеленевшая медь.
Путём потускневшего облака, пыльного оттиска —
К умению отважиться, вытерпеть, оторопеть.

Вон солнечный профиль над осололевшими купцами.
— Куда возвращаться? Давайте ещё по одной.
И жизни — другие, которые нами упущены,
Не лучше, чем эта, но летние, как выпускной.

* * *

Деревянный пол, сладковатый запах,
Эта зелень света в дырявых окнах,
И хозяйка дома, который заперт,
Сторожит его как зеницу ока.

Присмиривший вечер сквозь пальцы вытек
За тревожной шторой из редких кружев.
В магазин бы надо — никак не выйти:
Дом давно крест-накрест забит снаружи.

Наши дачи были всегда чужими:
Ночевать ли, пить ли, влюбляться, петть ли,
Мы дышали в доски, но в них не жили,
Даже если там же влезали в петлю.

На последней улице указатель
За надгробным словом в карман не лезет.
Здесь прохожих нет, и откуда взять их
Там, где хлеб темнеет на ровном срезе?

Выпадая в сумерки с той ли, с тем ли,
За бетонной выпарканной каймою,
Мы искали вход, отирая стены,
Как служебный выход к чужому морю.

По своим следам возвращаясь в Мекку,
Ни пути не знаешь, ни расписанья.
Где всю ночь цвели и метались ветки,
И в слепые окна валились сами?

* * *

Сначала говорят: «А мы её забрали,
Забрали насовсем и в детской поселили».
И детскую кровать недетским застелили,
Она и прилегла бочком, как на вокзале,
И ждёт ближайший рейс, отложенный куда-то,
Чтоб если что вскочить в халатике несмятом.

За выпуклым стеклом, как выцветшая гулли,
Она ещё жива для нерадивой боли.
«Что это за старьё? Что ты взяла с собою?»
«Поешь» — она поест, «попей» — она пригубит,
И всё читает стол, замызганный по Брайлю.
«Поеду, мне пора». — «Нет, мы тебя забрали».

Я август не люблю, чернеющий от ягод.
Свет запылал окно, а ветер тянет мелом.
Как мелочи щедры, но как нелепо в целом,
День длится без конца, но скоро листья лягут.
Забьётся редкий дождь в сетях многоэтажек.
Забрать меня нельзя. Играть на мне — но как же.

* * *

В каждом дне совершеннолетнем
Скрыт другой — совершенно летний,
После тех ли жизнь, после этих —
Всё смертельнее и нелепей.

Скажем, год девяносто третий,
Под — неважно, какой — напиток
Мы в пивной у метро Динамо,
Мы весёлые, родина, мы
Не твои уже, не смотри так.

(Как тебе не хватает, боже,
Что тебе не хватать нас больше,
Что не спрятать куда поближе
Тех из нас, кто уже унижен.)

День так долгод и синь и зелен!
Стол бумагой сырой застелен,
За соседним — брезгливый Танатос,
Мы уедем, а он останется.
Кто-то возле подносов вертится —
Вроде вируса или Эроса.

Мы уедем, а нам не верится.

Кто — в метро, а кому — на велике,
Но навеки уже, навеки.

Туристки

Тамара, теперь-то ты видишь, что мы в раю?
Тамара, ты понимаешь, что мы как дома?
А что ты мне говорила: «Не верь вранью,
Там всё по-другому?»

А я тебе говорила: Давай не ссать,
Ну что ты заладила — «нас никуда не примут».
Смотри, за тобой, Тамар, Гефсиманский сад,
И всюду, куда ни дышишь, полезный климат.
Я больше не верю в чувства и даже в секс.
Но, может, и выпью, случай такой особый —
За жен-мироносиц — эти упрямей всех,
А вроде с чего бы?
И мы рассекаем тоже как две жены,
И наша стезя светлеет в огне светила —
Оно безоружно, мы вооружены.
Ну как это чем, Тамара? Да всем, что было.
Как матери, мы не бегали ныть в партком,
Но жили как в этом, как же его... Освенцим.
Ну что — перестань? Да я ни о чём таком,
Чтоб не разреветься.
Зато вот я помню, с мамой была в Крыму —
Горячие камни, пляж, молоко в пакетах,
Нарядные женщины курят в густую тьму.
Я падаю навзничь в море и не пойму —
За что мне это.



Максим Биллер

Эсра

Главы из романа

Перевод: Семён Биллер

1

Когда мать Эсры получила Нобелевскую премию, казалось, что у нас с Эсрой, может быть, всё-таки ещё что-нибудь получится. Правда, Нобелевка была только альтернативная — настоящая, естественно, была бы куда милее, — и, тем не менее, на какое-то время эта властная, честолюбивая женщина стала почти миролюбивой. Это явно объяснялось тем, что, получив премию, она сумела расплатиться с большей частью долгов, висевших на её гостинице после большого землетрясения в Эгейском море. На протяжении всей жизни денег у Лале Шётле было или слишком много, или слишком мало. Но после того как в течение одного сезона она сумела восстановить свой целиком разрушенный «Клуб Одиссей», а весь последующий сезон провела в ожидании гостей, денег у неё стало даже ещё меньше, чем прежде. Так что вполне можно себе представить, насколько упоканвающе на неё подействовало, когда вдруг — и при этом совершенно неожиданно — она разбогатела на несколько сот тысяч шведских крон.

Но к деньгам прибавлялось и что-то ещё. Это внезапно и неожиданно полученное признание — во всяком случае, так нам показалось вначале — сделало маму Эсры другим и более хорошим человеком. Теперь уже Лале весь день не сидела с

Максим Биллер родился в Праге, с 1970 года живёт в Германии. Биллер — прозаик, автор ряда романов и рассказов, среди которых — «Эсра», красивая и печальная история любви двух молодых людей в конце тысячелетия, разворачивающаяся в небольшом городке на юге Германии. Роман впервые появился на немецком языке в начале 2000-х и вошёл в историю немецкой литературы благодаря нескольким привлёкшим внимание судебным решениям.

Семён Биллер (1931–2017), переводчик, отец Максима Биллера.

пачкой сигарет и стаканом виски в своей рабочей комнате, из которой она прежде выходила только затем, чтобы в очередной раз разругаться со своим молодым немецким мужем, детьми или с фрау Эركان, домработницей. Она стала относительно часто ходить гулять, большей частью вокруг Габсбургерплац и ещё до самой Леопольдштрассе, а однажды даже решила встретиться после работы Эсру. После краткого, скорее даже стеснительного приветствия, обе женщины — со своими длинными, гладкими волосами и оливкового оттенка индейскими лицами они были так похожи одна на другую и при этом были такими разными — медленно направились от «Мюнхенер Фрайхайт» в сторону Гизелаштрассе. Мать, как всегда, испытывавшая физическую слабость, опиралась на чёрный мужской зонтик, Эсра одной рукой держала ручку Айлы, а в другой несла пакет с покупками. Когда они свернули на Габсбургерштрассе, Лале Шётле вдруг сказала дочери, что очень сожалеет о том, что всегда была с ней такой чёрствой, но ведь ей самой большей частью приходилось буквально бороться за жизнь — против мужей, против долгов, против деда и бабки. И ещё она думает, что Эсра, ради Бога, не должна сердиться на неё из-за меня, может, ещё не всё потеряно, а под конец мать даже пригласила Эсру, чтобы та с остальными и вместе с Айлой поехала с ней в Стокгольм на вручение премии. Эсра, подумав, сказала «да», но не спросила, могу ли и я поехать с ними. Вероятно, мать не стала бы возражать, и даже напротив: пока не улетучилось её нобелевское счастье, она иногда даже спрашивала обо мне у дочери, особенно, если видела меня по телевизору или где-нибудь читала мою очередную статью.

При этой встрече, — первой после того, как они много месяцев вообще не виделись, — меня, конечно, не было, но Эсра рассказала мне о ней. Из-за меня и из-за ещё какой-то истории, которую я, впрочем, не совсем понял, они снова — уже в какой раз? — много месяцев не разговаривали, и потому у Эсры сначала полегло на душе. Это было как всегда, когда непрекращающаяся война между ними прерывалась перемирием: Эсре сразу становилось легче, но тем не менее она оставалась начеку. И даже после того, как они разошлись на Габсбургерштрассе, и каждая скрылась в своём парадном — по

меньшей мере, так это видится мне — в воздухе над тротуаром, там, где они, прощаясь, трижды расцеловались, на какое-то время повис большой невидимый вопросительный знак. Почему — у каждого, кто знал нашу с Эсрой историю — возникал этот вопросительный знак, почему она не может хорошо кончиться, и кто будет в этом виноват?

2

Мать Эсры была не единственной, кто с самого начала был настроен против нас. Эсра знала об этом и очень переживала из-за такого отношения к нам. Едва мы первый раз поцеловались и переспали друг с другом, как она как-то очень печально посмотрела на меня, и, ничего не сказав, только с улыбкой застенчиво сжала свои тонкие губы... Однако я сразу же почувствовал, что это не означает ничего хорошего. И впрямь, несколько дней спустя, — это было жарким летним днём после обеда — она позвонила мне и спросила, не можем ли мы ненадолго встретиться?

Эсра пришла в одном из своих летних платьев, в котором она выглядела женщиной и девочкой одновременно, оставившись в дверях в этом пёстром, турецком цветастом платье, и только произнесла: «Нет, из этого ничего не выйдет!»

Тогда я ещё не любил её так, как сегодня — во всяком случае, так я думал тогда — и совершенно спокойно произнёс:

— Но ты всё же войдёшь?

— Айла сейчас у подружки. Мне надо скоро уходить.

— Арбуз хочешь?

— У тебя есть арбуз?

— Да. Почему это тебя так удивляет?

Она снова заулыбалась своей печальной улыбкой, говорящей: «Всё равно всё это напрасно!», однако теперь чуть-чуть радостнее, чем до этого.

— Нет, почему? — сказала она. — Просто у немцев никогда не бывает арбуза...

Мы ели арбуз на кухне, в задней части квартиры, и всё время, пока мы разговаривали, до нас через всю квартиру

доносился с улицы смех и взвизги детей из бассейна в парке перед домом. Мы слышали невнятные голоса взрослых и всплески воды, иногда по Хоенцоллернштрассе проезжали машины или трамвай. Я хотел закрыть окно в большой комнате, но Эсра сказала, чтобы я оставил его открытым, тогда можно думать, что мы где-то у моря. Окно осталось открытым, и время от времени в квартиру врывались порывы горячего, но не неприятного ветра, а реюющие по комнате большие тёмно-зелёные полотнища материи, которыми я от солнца завешивал окна, издавали звуки, подобные порывам парусов.

Мы сидели в большой комнате, представляли себе, что мы где-то на Юге, и Эсра объясняла мне, что она не может так поступить с Фридо. Мне лично Фридо был совершенно безразличен. Мы с Фридо уже по меньшей мере лет десять не виделись и не разговаривали друг с другом, а что тогда я был свидетелем на свадьбе Эсры и Фридо, этим я себе тоже не забивал голову. Куда сложнее было с Айлой, их дочерью, которую я знал грудным ребёнком, и как раз сейчас, в эти дни, увидел снова, теперь уже десятилетней девочкой. Своим красивым, по-крестьянски широким лицом и вечно обиженной манерой поведения она напоминала мне своего отца, и перспектива провести последующие годы под одной крышей с уменьшенной копией Фридо мне представлялась не самой приятной. Но я бы всё равно это сделал.

Едва договорив это до конца, Эсра тут же хотела уйти, но я как-то сумел уговорить её остаться. Она осталась — может час, может целых два, а потом позвонила Айла. Мне кажется, что этот час или два ей было очень хорошо, и она даже забыла, что её ждёт дочка, и что её мать ненавидит меня и что у неё плохая совесть из-за Фридо. А потом зазвонил телефон, позвонила дочка, и Эсра тут же впала в панику. Она быстро собрала свою одежду, — даже не прерывая разговора с Айлой, — и выбежала из квартиры.

Всякий раз, когда Эсра, сломя голову, убегала из квартиры, у меня возникали мысли о каком-то животном. Вообще-то я о животных не имею понятия, но тут я представлял себе нечто наподобие лани или антилопы, во всяком случае, некое пугливое,

очень быстрое животное, красотой которого можно всегда наслаждаться только с большого расстояния, и которое — стоит к нему приблизиться — тут же скрывается с глаз. Ассоциация, по всей вероятности, это довольно тривиальная. Да и можно возразить, что лань никогда не бывает одна. Тот, кто хоть раз видел сделанные с воздуха снимки несущегося в смятении ланьего стада, знает, что я хочу этим сказать. А Эсра, когда она обращалась в бегство, всегда бывала одна.

3

Эсра сказала мне с самого начала, чтобы я никогда не смел о ней писать. Когда-то я уже что-то о ней писал, о её свадьбе с Фридо, её мать, естественно, тоже упоминалась в этом рассказе, из-за чего она годы носилась по Швабингу — в надежде случайно со мною встретиться и влепить мне пощёчину.

Поначалу, когда Эсра начинала о том, чтобы я никогда не смел о ней писать, я даже толком не вслушивался в её слова. Я думал, это просто так, «разговорчики», мало ли о чём заходит речь, когда хочется поговорить. Однако, это было очень серьёзно — насколько серьёзно, я понял в один прекрасный день, когда мы в очередной раз тайком, как двое мелких воришек, улизнули ото всех, чтобы одним провести полдня у неё на Габсбургерштрассе.

— Ты должен мне это пообещать! — внезапно сказала она и с силой оттолкнула мою руку.

— Что я должен обещать?

— А то у меня такое чувство, что за мной всё время кто-то подглядывает.

— Так и есть, я не спускаю тебя глаз. Я всё время слежу за тобой. Я не могу перестать смотреть на тебя... Что ты этим вообще хочешь сказать?

— Я хочу быть только с тобой. Понимаешь?

Я снова попытался обнять её. Она не оттолкнула меня, но её тело было каким-то онемевшим, и когда я её целовал, её губы оставались холодными и безжизненными. Я целовал её снова и снова, и через какое-то время она мне слегка поддалась, разжала губы, и то внезапное тепло, которое источал её рот, пронзило моё тело.

— Эсра, прошу тебя, не требуй этого!

— Буду!

— Ты знаешь, что это означает?

Она ничего не сказала в ответ.

— А что другие книги, которые ты читаешь?

— Да?..

— Ты думаешь, в них всё придумано?

— Я не хочу этого. Я не хочу стыдиться тебя. Не хочу тебе показывать свою грудь, а потом где-нибудь прочесть, что я тебе показывала грудь.

— А ну, покажи! — сказал я, смеясь. Я расстегнул её кофточку, потянул наверх её нижнюю маечку детского размера, и большими и указательными пальцами обеих рук взял соски её груди. Я нежно раскатывал их между пальцами, и Эсра только вздыхала в ответ. Это звучало так хорошо, как если бы она не вздыхала, а пела — по меньшей мере, так это казалось мне, — но потом она вдруг вскочила и, не говоря ни слова, стала одеваться.

— Что случилось? — спросил я.

— Нам с Фридо надо в город, за новой скрипкой для Айлы.

— Но сейчас ещё рано.

— Я выйду первой. Ты подождёшь ещё пару минут? И просто захлопни за собой дверь...

Опять, подумал я, опять она убегает от меня.

— Пожалуйста, не делай этого, Эсра, не требуй от меня этого, — сказала я ей. — Если я не смогу писать, что хочу, это для меня как тюрьма... Я не ты. Это ты дома — в тюрьме.

— С моей мамой тогда — это было не очень хорошо...

— Эсра! Эсра... Это же был рассказ, я всё придумал...

— Раньше ты говорил другое.

— Это же, как если бы... Как если бы я встретил на улице женщину в соломенной шляпе с широкими полями, и она бы вдруг обернулась... Это такой особенный момент. А я бы пришёл домой и что-нибудь придумал о женщине в соломенной шляпе, которая обернулась на улице, потому что подумала, что она сейчас вдруг столкнулась со своей дочерью, с которой она... скажем, уже многие годы не разговаривала.

Эсра рассмеялась:

— А что-нибудь получше ты придумать не мог?

— Ты же знаешь, что я этим хочу сказать.

— Мне это всё равно, — прозвучало в ответ.

4

Мне было совсем не просто жить со страхом, который внушало Эсре каждое написанное слово. Я пытался представить себя на её месте и понять, откуда в ней берётся такая чувствительность. По всей вероятности, Эсра была просто такой же, как большинство людей. Она не хотела видеть, как кто-то другой её разглядывает. Я считался с этим — потому что это была она. И в то же время эту панику перед чужими взглядами я воспринимал как что-то неприятно мещанское. Я вспоминал о скандале, который вызвал первый роман Томаса Манна в Любеке, о той ярости, с которой прореагировали на него обыватели его родного города, считавшие, что остальной мир не должен знать, что у них происходит на самом деле. Когда ещё в мои студенческие годы я читал об этом, конечно же, я был на стороне Томаса Манна и свободы литературы. Почему, — думал я теперь, — почему сейчас я должен с пониманием относиться к узколобости Эсры? Правда, я вовсе не отношусь к тем, кто всё время что-то записывает и каждую секунду своей жизни по плану расписывает под будущие рассказы и романы — и тем не менее я вовсе не хочу, чтобы кто-то мне предписывал, о чём я могу писать, а о чём нет. Это же то же самое, как если бы кто-нибудь лишил меня воздуха, и я бы больше не мог дышать.

Эсра боялась не только литературы. К тому же она ещё и не хотела, чтобы я с другими говорил о ней и обо мне. «Всё, что происходит между нами, касается только нас двоих», — говорила она. И когда я отвечал, что это совершенно естественно — делиться с друзьями, она тихим голосом говорила, что она, несмотря ни на что, не хочет этого. В то время о таких делах я разговаривал почти только с моей мамой, и хотя во время наших разговоров по телефону она всякий раз хотела знать, как и что складывается у нас с Эсрой, я долго придерживался Эсри-

ного запрета. Должен признаться, в этом молчании и в том, что я держал это в секрете, что-то было. Как если бы на нашей планете жили только Эсра и я, и от этого вся эта история меня ещё больше возбуждала.

Возбуждало ещё и кое-что другое: когда Эсра была у меня, и раздавался телефон, я ещё не успевал снимать трубку, как Эсра — обращённой ко мне раскрытой ладонью — как бы отсекала от себя воздух. Это означало: «Никому ни слова, что я здесь!» На улице мне нельзя было её ни трогать, ни целовать, только изредка она затягивала меня в какое-нибудь парадное и нежно прислонялась ко мне. Эсра всё время оглядывалась по сторонам, полагая, что её вездесущий бывший муж или вздорная мамаша именно в этот момент могут проехать мимо нас на машине, а если нам навстречу проходил даже самый дальний знакомый одного из них, она хватала меня за руку и уводила прочь. Да, да, мы должны были избегать встреч и с её братьями и сёстрами — кстати, с такими же недоверчивыми, излучающими серебряный блеск взглядами, как у неё самой.

Очень скоро Эсра заразила меня своей манерой преследования. Совершенно неожиданно в Швабинге появились улицы и кафе, которых я стал избегать, даже когда был один, — только чтобы не встретить никого из её родных. И если у меня иногда возникали мысли, — а не стоило бы всё-таки что-нибудь о нас написать? — я тут же приходил к выводу, что это не стоит того, это было бы слишком опасно.

5

Однажды — это было ещё в самом начале — Эсра и я на какое-то мгновение забыли обо всём окружающем нас мире. Это был один из самых прекрасных дней, которые мы провели друг с другом, может быть, даже самый прекрасный вообще.

А начался тот день просто ужасно. Тогда ещё Эсра время от времени ночевала у меня, и в тот день уже рано утром зазвонил её мобильный телефон. Звонил Фридо. Айла должна была до самого вечера остаться у него, но поскольку он предполагал, что Эсра со мной, он, конечно же, что-то придумал: у его приятеля

Аниса сегодня распродажа, и поскольку один из его сотрудников заболел, он, Фридо, должен ему помочь. Эсра несколько минут молча слушала Фридо, потом выключила телефон и вернулась в кровать. Легла на спину и уставилась в потолок. Через две минуты мобильник зазвонил снова. На этот раз была мать. Она звонила из Турции, и её Эсра тоже поначалу слушала, не говоря ни слова. Потом закричала на мать по-турецки, затем долго не говорила ни слова, и когда разговор кончился, я уже знал: она не сумела настоять на своём.

Пока Эсра говорила по телефону, я думал о пропедшей ночи. Мы очень долго не спали, потому что сначала шёл фильм «Такими мы были» с Робертом Редфордом и Барброй Страйзанд, а поскольку любовного фильма, прекраснее этого, вообще не существует, на нас нашло страшно хорошее настроение, и мы оба расслабились — возможно, даже слишком...

Когда Эсра снова легла рядом со мной, я сказал:

— Мне кажется, вчера мы были с тобой очень легкомысленные.

— Почему? — сказала она. — Ведь всё было окей!

— Но не с самого начала.

— Это было самое большее одну минуту. Может, только пол...

— Это не играет роли.

Теперь мы оба молча лежали на спине, вытянув руки вдоль тела и уставившись глазами в потолок.

— Мне надо уходить, — сказала она.

— Да, я знаю.

— Ты думаешь, что-нибудь случилось? — спросила она.

— Может быть.

— Действительно — да?

— Я очень сожалею об этом, Эсра.

— Не надо, не жалея.

— И что теперь нам делать?

Она задумалась.

— Я позвоню доктору Маковскому, — сказала Эсра.

— Это женский врач моей матери, он знает нас уже давно... Позвонить?

— Он тебя сразу примет?

— Не знаю.

— А где у него кабинет?

— Ах да, я совсем забыла... за городом, в Зесхаупте.

6

Рецепт доктор Маковский послал по факсу в аптеку рядом с моим домом у бассейна Нордбад. Всё это должно было произойти как можно скорее, и первую таблетку Эсра проглотила прямо там, ещё в аптеке. Оттуда же, из аптеки, она ещё раз ему позвонила и во время этого разговора всё время как-то умиротворённо улыбалась. Врач сказал, что на протяжении следующих двадцати четырёх часов она должна себе очень беречь и быть осторожной, всё это — серьёзное вмешательство в её организм, но она достаточно сильна для того, чтобы это без проблем перенести. Когда я её спросил, почему она во время разговора так улыбалась, Эсра ответила:

— Он хотел сказать, ты сегодня должен быть ко мне особенно внимателен.

Стоял сухой, горячий августовский день. Улицы и дома были распалены от жары, и поскольку у меня в квартире, под самой крышей, в полуденные часы вообще нельзя было выдерживать, мы пошли гулять. Мы пошли от бассейна вниз по Шлайсхаймерштрассе, в направлении к Штигльмайерплац. Атмосфера в этой части города была совсем другой, человек себя не чувствовал здесь, как в Мюнхене. И это потому, что в этих кварталах живут много иностранцев, есть множество мелких магазинчиков с запylёнными, полупустыми витринами, фасады многих домов уже долгие годы не ремонтировались.

В одной турецкой фруктовой лавке мы взяли мороженое, и, бесцельно бродя по улицам, стали болтать, просто так. Мы рассказывали друг другу то, что всегда рассказывают вначале: истории наших жизней. За годы до этого я уже довольно часто делал то же самое с другими женщинами и вообще-то не мог этого терпеть. Каждое из моих слов я знал заранее. Я знал, что раньше или позже стану говорить о том, что я до сегодняшнего дня по-настоящему не пережил уход из Праги и, конечно же,

скажу, что по-моему это просто смешно, когда люди из-за чистейшей самовлюблённости не в состоянии надолго полюбить другого. Именно всё это я и стал рассказывать Эсре, но на этот раз мне почему-то казалось, что прежде я ещё никогда об этом не говорил. Она тоже очень много рассказывала о себе, и, по-моему, чувствовала себя при этом подобно мне. В какой-то момент где-то посредине улицы она даже дала мне свою руку, и так вот, гуляя, мы медленно брели по направлению к моему дому.

Отперев ключом двери парадного, я повернулся, потому что хотел первой пропустить в дом Эсру. И именно в этот момент мимо нас на своём «Пежо» проехал Фридо. Это не могла быть случайность! Но, с другой стороны, он проехал с такой скоростью, что это могло выглядеть так, как если бы он действительно куда-то ехал. Я посмотрел на Эсру, но она явно ничего не заметила. Она улыбалась — так же, как раньше, когда говорила по телефону с врачом — и погладила меня по щеке. Я глубоко передохнул. Она поцеловала меня, и мы рука об руку пошли вверх по лестнице.

Мы пробыли дома всего лишь несколько минут, как Эсра сказала, что она очень плохо себя чувствует. Я-то вообще хотел показать ей одно старое чешское телешоу ещё 60-х годов, с Сухим и Шлитром, о котором я рассказывал Эсре, когда мы сегодня гуляли по Шлайсхаймерштрассе. Но едва оба певца появились на экране — до сих пор в Праге такие же знаменитые, как Эдит Пиаф в Париже или Фред Астор в Америке, как Эсра отрицательно покачала головой. Она свернулась на кровати калачиком, и я немедленно выключил видеоманитофон. Ей хотелось только спокойно лежать, и когда я спросил, не нужно ли позвонить врачу, Эсра ответила, что нет, не нужно. Она сказала, что знает, что в такой ситуации после этого большей частью бывают судороги, а позже у неё, вероятно, ещё начнётся и кровотечение.

- Обними меня, пожалуйста, — попросила Эсра.
- Ты уверена?
- А почему нет? Мне так нехорошо.
- Нет, конечно, да...

Я лёг рядом с Эсрой и осторожно обнял её. Она лежала спиной ко мне. Я слышал её дыхание, и, быть может, она дышала чуть-чуть громче, чем обычно. Её тело казалось каким-то затвердевшим, и я время от времени гладил её по лбу. Она держалась очень мужественно. Я вдруг подумал о том, что другие женщины, с которыми я встречался до сих пор, такими никогда не были. Едва у них начинало болеть горло, как они становились агрессивными, начинали громко жаловаться, и когда я их хотел обнять и успокоить, они говорили, чтобы я их не трогал, им нужен полный покой.

— Адам, — вдруг сказала Эсра.

— Да.

— Ты думаешь, мы поступаем правильно?

— А ты думаешь, нет?

— Да нет... Я не знаю.

— Эсра, дорогая, мы же ещё совсем не знаем друг друга.

— Да, да, ты прав.

— Ты думаешь, это наша ошибка? — спросил я.

— Нет, наверняка нет.

Она обернулась ко мне, и мы поцеловались. Я крепко обнял Эсру и не отпуская, пока она не заснула.

Пока она спала, я долго смотрел на неё. Потом стал её целовать — в щёки, в лоб, в глаза — но только очень осторожно, чтобы она не проснулась. Но Эсра спала очень крепко. Так крепко, что даже не проснулась, когда два раза зазвонил её мобильный. Наверняка, это была Айла — потому что от всех этих треволнений Эсра про неё совсем забыла.

7

Как Эсра оказалась в Германии? Почему её мать вообще сюда переехала? В семнадцать лет Эсрина мама познакомилась в Измире с одним американским солдатом, от которого тут же забеременела. И когда она потом застучала американца с нянькой своего ребёнка — это произошло уже в Виржинии — с этого момента началась прямо-таки мифическая борьба Лале Шётле за жизнь, которая лишь с хорошей вестью из Стокгольма

стала вроде бы обращаться в её пользу. Может быть, эта борьба началась ещё раньше, этого я, конечно, не знаю. Но я уверен в одном: самое позднее начиная с той секунды, когда мать Эсры увидела первого мужчину, которого она очень любила, вцепившимся в голую ляжку другой женщины, ей сразу стало ясно, что счастье снова от неё ускользнуло — и что теперь пройдёт очень много времени, прежде чем ей снова удастся его поймать.

Итак, Лале Фицпатрик — так звали её тогда — взяла трёхлетнюю Эсру и отвезла её к деду и бабушке в Турцию. А затем улетела обратно в Штаты, где в последующие годы стала своего рода Матой Хари, но работающей исключительно на себя. Вооружённая особо короткими миниплатьями, красными и зелёными сапожками и слишком широкой холодной улыбкой, она выслеживала молодых мужчин и женщин на Восточном побережье, чтобы выведать у них секреты, как ей казалось, их само собой разумеющегося счастливого бытия. У Эсры были фотографии матери тех лет и, хотя как раз сейчас они друг друга не могли терпеть, она мне много раз и гордо показывала эти снимки. Эсра поглаживала ногтем по фотографиям и говорила: «Ну не была моя мама красивой?» На поблёкших цветных снимках 70-х годов эта женщина с оцепеневшим от честолюбия взглядом мне казалась просто некрасивой, но, тем не менее, я всё же говорил «да». Красивой я её нашёл — хотя и на годы старше — на фотографиях из Стокгольма, которые я знал по газетам. На них у неё были почти стыдливо полузакрыты глаза, и это производило очень мягкое впечатление, да и улыбка была теперь уже не такой широкой, но зато искренне счастливой.

В конце своей американской миссии Лале Фицпатрик в баре «Уолдорф-Астория» влюбилась в одного мюнхенского адвоката, за которого через полгода вышла замуж. Эсру, которая к тому времени уже давно забыла мать, она забрала к себе в Мюнхен. Эсра получила фамилию отчима, и самое позднее с этого момента история жизни её матери становится и историей Эсры. Так, в частности, от побоев, которые доставались Лале от господина Адриана — Эсра называла его по фамилии по сей день, что-то почти всегда перепадало и её маленькой дочери. Новый муж каждый день приходил пьяным из своего офиса и

зачастую приветствовал Лале оплеухой. Потом они уже вместе продолжали пить дальше, а ещё позже Лале Адриан с пеной у рта бегала по квартире, и Эсра с расширенными от страха глазами лежала в своей кроватке и молила Бога, чтобы мать не добралась до её комнаты. её мольбы часто сбывались, и едва вступившая в новый брак госпожа Адриан просто грохалась где-нибудь в коридоре на пол. Там она и оставалась до следующего утра, где её находила Эсра. Больше, чем один раз, девочка склонялась над потерявшей сознание матерью и плача гладила её по лицу, пока та не приходила в себя. После этого к Лале на несколько мгновений возвращалось чувство собственного достоинства, она быстро вставала, с трудом плелась к себе в спальню и запиралась в ней до самого вечера, — чтобы набраться сил для очередного загула с супругом.

Тот, кто думает, что такую жизнь можно выдержать только пару недель или пару месяцев, глубоко заблуждается. Господин Адриан и мать Эсры прожили вместе шесть, семь, а, возможно, и всех восемь лет. Если они как раз не колотили друг друга или не напивались до потери сознания, то устраивали в своей большой и тёмной квартире на Карл-Теодор-Штрассе вечерние приёмы. Приглашали друзей по совместным плаваниям на яхте по Эгейскому морю, детская одежда приобреталась в бутике «Пти-Фаун» на Штольбергштрассе и госпожа Адриан каждую осень получала от господина Адриана в подарок новую шубу. А когда Лале однажды сказала, что хотела бы иметь какое-нибудь занятие, господин Адриан дал ей немного денег, и из-за своего стоявшего в гостиной бидермайеровского секретера она начала заниматься мелкой коммерцией домашних хозяек: торговлей турецкими поделками из янтаря. Особенно счастливой в этот период своей жизни, я думаю, она не была — но и не по-настоящему несчастной. Вероятно тогда — а ей ещё не было и тридцати — она думала, что жизнь просто такой и должна быть. Или может Лале была просто очень расчётливой, и когда её расчёт перестал оправдываться — когда деньги у господина Адриана кончились, и он стал заставлять жену отдавать ему то, что она зарабатывала сама, Лале стала понимать, что происходящее здесь — не совсем то, что она представляла себе как счастье.

А кто все эти годы ухаживал за тремя детьми, которые тем временем родила Лале от господина Адриана? Эсра, и почти всегда совсем одна. Когда ей было всего восемь, она уже ходила за покупками, готовила еду и меняла пелёнки, и когда никакой наёмной силы к детям в семье как раз не было, водила своих сводных сестричек и братьев на детскую площадку или гуляла с коляской по Луитпольдскому парку. Поэтому я часто мысленно представлял себе Эсру как настоящую маленькую рабыню, и, наверное, она действительно ею и была. Уже потом, много позже, когда я стал иногда встречать Эсру на Леопольдштрассе с её новым ребёночком и с Айлой, всегда больную, измотанную и, несмотря ни на что, не капитулирующую перед жизнью, это заставляло меня вспоминать ту прежнюю маленькую рабыню, которую я не знал, и всякий раз думать, что по-видимому именно для этого она и рождена. Эсрина мать была убеждена в этом. Когда, разойдясь с господином Адрианом, она открыла гостиницу в Дилике, Эсра стала её самой надёжной и дешёвой рабыней. Когда бы ей ни вздумалось, она забирала Эсру из школы и отправляла в Турцию, где Эсра стояла за стойкой администрации в «Клубе Одиссей» или сидела на телефоне. Поначалу она ещё должна была и помогать горничным убирать номера, но с этим было вскоре покончено. Иногда мать жалела Эсру, иногда ей тоже приходило в голову, что и другие хотели бы быть счастливыми.

8

Именно тогда Эсра начала грезить — днём, наяву, с открытыми глазами. Вечер за вечером она разговаривала с двумя крошечными карандашными точечками на стене над своей кроватью, которых назвала Джимми и Джонни. Она гладила их кончиками пальцев и иногда даже слышала, как они смеются. Эсра часами слушала две большие розовые ракушки, которые она привезла из Турции. Писала бабушке с дедушкой письма в Диланк, которые, однако, так никогда и не были отправлены, потому что у девочки не было денег на почтовые марки, и представляла себе, что её настоящие родители — дедушка с

бабушкой, а Лале — какая-то чужая женщина, которая её похитила. Но когда Эсра потом летом работала в гостинице в Дилике, у неё не хватало смелости рассказать дедушке с бабушкой о своих ужасных подозрениях. Она даже не решалась зайти к ним. Эсра часто стояла перед калиткой их дома, но не входила внутрь, а когда она в кухне видела бабушку или когда дед — высокий, худощавый, седоволосый — вдруг через весь сад начинал громко её звать, она стремительно убегала. Эсра жила с ними только в своих мыслях, и всякий раз, когда начинала мне об этом рассказывать, мне всё это казалось каким-то знакомым.

На поблёкших цветных снимках 70-х годов эта женщина с оцепеневшим от честолюбия взглядом мне вовсе не казалась такой уж красивой. Тем не менее, я всё же говорил «да».

— Теперь у нас с тобой — как между тобой и твоими дедушкой и бабушкой? — спросил я её однажды.

Она сразу поняла, что я имею в виду, и покачала головой:

— Нет, они перестали со мной разговаривать. А ты ведь со мной разговариваешь.

Я ничего не ответил. Я молчал, она тоже молчала. Но когда уже пауза слишком затянулась, Эсра сказала:

— Почему ты больше ничего не говоришь?

— Я как раз перестал с тобой разговаривать.

— Как бабушка с дедушкой.

— Точно.

— Нет, это не так, — сказала она, — это иначе.

— Почему иначе? Ты же их не видишь... Ты уже годы их не видела, и с ними не разговаривала, но они всё время с тобой, и ты всё время думаешь о них.

— Да.

— А у нас с тобой — я почувствовал, как моё сердце от ярости начало ужасно сильно биться — ведь у нас с тобой то же самое! Мы же с тобой практически тоже никогда не видимся!

Она снова покачала головой:

— Всё же да!

— Я думал, — произнёс я вдруг, — я думал, это ты больше не решаешься с ними разговаривать!

— Да.

— Но ты же только что сказала, они с тобой не разговаривают.

— С нами. Со всеми нами...

— Ах, Эсра!

— Да из-за того участка, ты же знаешь.

— Из-за какого участка?

— Это было два участка, на одном мама построила гостиницу, а второй она продала. А потом бабушка подрядила мафию.

— Но с тобой это же было раньше, Эсра! Намного раньше!

— Да, это правда.

— От твоих историй я когда-нибудь с ума сойду...

— Прости, пожалуйста.

— ...от этих твоих историй с Джимми-Джонни!

Эта последняя фраза была совсем лишней, я и сам знал об этом. Я посмотрел на неё, но моя маленькая рабыня, которой она иногда была на самом деле, даже вида не показала.

— Между нами всё должно быть совсем иначе, — сказал я.

— Нет, не будет... это ещё невозможно.

— И сколько же ты хочешь ждать?

— Что бы сделал ты, если бы твоя дочка вдруг заболела?

— Не знаю. Но что-нибудь я бы сделал.

Я услышал, как участилось её дыхание. Выражение лица Эсры оставалось прежним, оно было таким же дружелюбным и спокойным, как всегда, однако воздух входил и выходил из её лёгких с каким-то свистом. Но мне это было безразлично.

— Эсра, проснись, наконец, Эсра! — жёстко сказал я ей.

— Они тебя не отпустят! Даже если ты спросишь разрешение... Никто из них тебя не отпустит.

— Да ты просто не знаешь, что происходит на самом деле, — ответила Эсра. — Это ты только думаешь, что всё знаешь.

— Да нет же, я точно знаю, как это на самом деле...

— До тех пор, пока она больна...

— ...ты будешь делать всё, что она захочет?

— Да.

— И что же они захотят?

Эсра не отвечала. Она смотрела на меня, будто окаменев, слышалось только её громкое дыхание. Эти вдохи и выдохи становились всё более порывистыми, и вскоре у неё начался приступ астмы.

9

Айла заболела через два месяца после того, как мы с Эсрой первый раз провели вместе ночь. Девочка явно была больна намного раньше, однако Эсра игнорировала все симптомы, потому что она — ну, разве это не типично? — ни за что не допускала и мысли о том, что с её дочерью может быть что-то не ладно. Никто не знает, что было бы, если бы Эсра раньше решилась пойти с Айлой к врачу, но после того, как она, наконец, это сделала, всё уже было совсем иначе, чем до этого. Поэтому она три года оттягивала это обследование?

Из-за его результатов врач сначала позвонил Фридо, а потом Эсриной матери, и они целых полдня просидели у Лале и её молодого немецкого мужа на Габсбургерштрассе, ломая себе голову над тем, что теперь можно сделать. Про Эсру они просто забыли. Она весь день просидела на работе, и Фридо позвонил ей только вечером. Он вызвал Эсру в скверик за студенческой столовкой и едва успел сказать Эсре, что произошло, как она отказалась от меня. «Фридо, — умоляла она его, — если ты будешь вести себя разумно, я разойдусь с Адамом!» Конечно, Фридо сразу же пошёл на такую сделку.

На следующий день был на очереди я. Мы встретились в том же сквере у столовой. Мы стояли, опираясь на бетонную плиту стола для пинг-понга, за которым в этом время дня ещё никто не играл, и Эсра сказала мне, что мы больше не можем видаться и что теперь это уже окончательно. Я смотрел на неё, смотрел на её смуглое, утончённое лицо, такое бледное в этот день и казавшееся даже каким-то просвечивающимся, и у меня не было ответа на то, что она сказала. Так, ничего не ответив, я пошёл домой и всё время только думал: этого же не может быть!

10

Эсру я знал с её семнадцати лет. Я познакомился с ней как с подругой и невестой одного из моих ближайших друзей, как с матерью его ребёнка. Я считал её симпатичной, но в чём-то не совсем честной, видимо, потому, что тогда она так мало разговаривала. Эсра была едва в состоянии выдавить из себя законченную фразу, а если к ней кто-то обращался прямо, то у него и вовсе возникало чувство, что он причиняет ей физическую боль. И, тем не менее, она всё время о чём-то размышляла — это было видно по её серьёзным, вечно бодрствующим глазам, а если кто-то так много думает и ничего не говорит, он автоматически становится подозрительным. Только когда я с Фридо перестал разговаривать, она на короткое время покинула мир своих грёз наяву. В кафе «Венеция» она два раза меня спрашивала, не хочу ли я прийти к ним на обед? Фридо очень переживает нашу ссору, говорила она, и было бы хорошо, если бы мы с ним помирились. Я каждый раз говорил «нет», потому что я ей не доверял — а ему и подавно, — и после этого мы с Эсрой тоже перестали разговаривать друг с другом.

Прошло лет шесть-семь. За это время я почти забыл Эсру. Я даже случайно не сталкивался с ней на улице. Да и Фридо точно растворился в воздухе, но при этом он мне регулярно снился по ночам, что меня по сей день поражает и дико злит. А потом они вдруг снова возникли из небытия. Их можно было увидеть в «Венеции», где они уже долго не появлялись, они бывали — но никогда не вместе — в ресторане «Шуман'с» или на открытии то одной, то другой новой галереи на Максимилианштрассе, а вскоре до меня донеслось, что они якобы разводятся.

Это всегда очень странно, — когда разводится молодая пара, и именно так в этом случае это воспринял и я. Поэтому их развод, — хотя у нас уже давно не было ничего общего, — занимал меня намного больше, чем свадьба. Конечно же, это было связано и с тем, что как раз в это время началась вся эта заваруха с моей дочкой: женщина, с которой мы долго жили вместе, за несколько месяцев до этого позвонила мне и сказала, что у неё есть другой, но она беременна от меня... ну, и так далее.

Так что в то время я был особенно восприимчив к подобным историям, и, может быть, именно поэтому в один прекрасный день я неожиданно в кафе «Маккиато» оказался на одной скамье под окном рядом с Эсрой — другой, более взрослой, более разговорчивой Эсрой, и она рассказывала мне об ужасах их супружеской жизни. Некоторые темы иногда притягиваются друг к другу, как и люди...

Сначала, — если мне не изменяет память, — она рассказывала о лени и летаргии Фридо, о его отвращении к необходимости самому зарабатывать деньги, о том, как он на съёмочной площадке строил из себя её агента и делал так, чтобы её гонорары переводились на его счёт. И вдруг Эсра начала рассказывать, как это было, когда она должна была с ним спать, как Фридо — и она описывала это с детальной точностью — прижимал её стене, и она буквально всем телом пыталась утонуть, погрузиться в эту стену, чтобы бежать от него. Что, естественно, было невозможно, и он ночь за ночью колотил её тело об стенку. В этом месте я вдруг вспомнил, что их самую первую совместную ночь они провели в моей кровати, потому что Фридо тогда ещё жил у своей предшественной подружки, а Эсра должна была делить общую детскую комнату с Джимми и Джонни. Из-за них я пару дней ночевал где-то в другом месте, и когда после этого я в моей кровати менял постельное бельё, на матрасе я нашёл кровь Эсры. «Это пятно там ещё до сих пор», — сказал я ей теперь со смехом, и может быть это и был тот момент, когда мы оба впервые что-то почувствовали.

Позже Эсра мне рассказала ещё одну, уже по-настоящему «секс-историю», как она однажды в гостиничном номере своими нежными ручками поинтрала с членом одного едва знакомого мужика. То был эпизод из жизни молодой разведённой женщины, ничего настоящего до этого не пережившей и гордившейся таким приключением! Тут я уже окончательно перестал верить своим ушам. Про себя я думал, зачем мне Эсра всё это рассказывает, этого же не может быть, а поскольку уже та откровенность, с которой она мне рассказывала о Фридо, мне показалась чрезвычайно странной, я насторожился. Насколько неразговорчивой Эсра была прежде, думал я про себя, настолько

теперь она слишком многоречива. Так, как она прежде скрывала свои мысли, так она теперь выставляет их напоказ — но только затем, чтобы за ними снова что-то скрыть!

Это было не совсем логично, — что я думал тогда, но наша первая встреча после столь многих лет вызвала у меня какое-то странное ощущение. Теперь-то я знаю, что в моём тогдашнем недоверии я был к Эсре несправедлив. Сам того не зная, я уже много лет назад стал частью мира её грёз наяву — точно так же, как ими были её дед и бабушка, мать или Джимми и Джонни. Я был кем-то, кто очень рано вступил в её жизнь, и с тех пор просто был в ней. Поэтому Эсра доверяла мне и делилась со мной своими самыми большими секретами; обо всём этом она уже наверняка рассказывала мне и прежде, но я об этом не знал, потому что Эсра делала это только в своих мыслях. Если смотреть на это так, то было совершенно ясно, что в один прекрасный день мы должны были стать парой. На самом деле в глазах Эсры мы ею давно уже были, — и когда мы уже больше парой не были, в её глазах мы всё ещё оставались парой.

11

Насколько бесцеремонным и грубым на самом деле был Фридо по отношению к Эсре? Этим вопросом я задаюсь по сей день, потому что между тем я, конечно, уже знаю, что Эсра зачастую преувеличивает. Нет, нет, Эсра не преувеличивает, когда что-то рассказывает, но она всегда слишком чувствительно реагирует на любой нажим — и это потому, что на протяжении всей жизни на неё постоянно оказывали давление. И поскольку она в жизни так и не научилась сопротивляться давлению, а только бессловесно переносить его и выжидать, когда же пройдёт самое страшное, я вполне могу себе представить, что почти все, если не все её ночи с Фридо, были вполне нормальными супружескими ночами: он хочет, она по-настоящему не хочет, но потом, — поскольку она ничего не говорит, — что-то и как-то всё-таки получается. Что уже само по себе достаточно неприятно, — это я знаю.

Что в характере Фридо есть какая-то грубость, неотёсанность — этого, с другой стороны, тоже нельзя отрицать. Однажды я уже слышал от совсем другой женщины, каких неожиданностей в определённые моменты от него можно ожидать. Уже на самом первом свидании Фридо схватил её руку в запястьи и сжал с такой силой, что она даже застонала; а когда они целовались, он ещё вывернул ей руку. Да, но тут такое дело: может быть на самом деле это был Фридо, кто больше не проявлял к ней интереса, и поэтому она теперь плохо говорит о нём?!

Я, правда, не хочу вступаться за Фридо, но с такими обвинениями надо всё же быть поосторожней. И тем не менее я убеждён, что что-то с Фридо неладно. Стоит лишь посмотреть на его тело, на это очень весомое, здоровое, как у быка, тело человека, всегда созерцающего мир только с перспективы избалованного утончённого духа. Нет, это тело другого, много более простого мужчины, которое без регулярного физического труда остаётся невостребованным. Ну, а что происходит, когда интеллектual, в голове у которого и так все непрерывно возбуждено, вдобавок ещё ощущает чрезмерную энергию в конечностях? Что удерживает его от того, чтобы за его мыслями не последовали и поступки?

На самом деле Фридо зовут Дитер. Фридо — это была его «подпольная» кличка, которую он себе придумал, ещё будучи ребёнком. Фридо вырастал на Боденском озере, в местах, где беднота и богатство всегда обитали в тесной взаимной близости. Семья Фридо относилась к зажиточным. Настоящие деньги семья Мерцен сделала после войны; они были, как мне однажды сказал сам Фридо, люмпен-пролетарии в тройках — это мужчины, а дамы — в костюмчиках, раз в несколько лет регулярно заказывалась новая модель «Мерседеса», за покупками выезжали в Цюрих. Фридо уже с детства не переваривал этот изнеженный мир скоропалительно разбогатевших выскочек, в который входили его родители, а поэтому весь день проводил на улице, где играл с детьми, которые были не такими, как он. Дети не преуспевших в жизни родителей, маленькие хулиганы, которые, поворовывая, обходили лавку за лавкой и избивали других детей. Предводителя этой банды звали Фридо;

маленький Дитер восхищался им и потому тайно принял его имя, которое сохраняет по сей день. Однако свидетельствовало ли это о его склонности к насилию? Нельзя забывать, что в один прекрасный день эти его уличные друзья — если то, что наш Фридо рассказывал, на самом деле было так — надоели ему до чёртиков. Когда ему было одиннадцать или двенадцать лет, Фридо попросил родителей отправить его в интернат. А там он и начал читать все те книги, которые его, вечного студента, по сегодняшний день скорее сбивают с толку, чем вносят ясность в его мысли.

Когда Фридо впервые прослышал об Эсре и обо мне, он хотел меня избить. Второй раз он захотел меня отколотить, когда узнал, что Эсра не соблюдает их уговор из сквера у студенческой столовки и продолжает видеться со мной. И третий раз он хотел меня побить после того, как Эсра ему рассказала о моём предложении, чтобы они поговорили насчёт Айлы с моим домашним врачом, потому что тот всегда знает самых лучших докторов. Из обещанных мне побоев мне не досталось ни одного. И всё же я был твёрдо убеждён, что в один прекрасный день Фридо потеряет контроль над собой. Я представлял себе, как он ночью в своём старом зелёном «пежо» с юберлингенскими номерами ждёт меня у дверей моего дома, и когда я издали видел его в «Шуман'с» или в «Литературном доме», я считался с тем, что он сразу же встанет, подойдёт ко мне и начнёт меня бить. Но, как я уже сказал, Фридо этого ни разу не сделал, и, тем не менее, от него исходила аура человека, который на такое способен и который всегда находится в состоянии, которое вот-вот приведёт к взрыву.

12

Если кто-то и был, кто должен был по-настоящему страдать от агрессивности Фридо по отношению ко мне, так это Айла. То был очень не прямой способ причинить ей боль, который он выбрал, но это действовало. Поначалу Айла против меня ничего не имела: мы часто играли с её кошкой или я помогал ей преодолеть страх перед чтением. А однажды, когда она, Эсра и

я ходили за покупками в «Эрдгартен» на Тенгштрассе, она передала кассой даже вынула из своего детского кошелька несколько монет по марке и сказала, что хочет нам купить что-нибудь сладкое, потому что мы вместе такие сладенькие. Но в один прекрасный день расположение Айлы ко мне кончилось. Это случилось вскоре после того, как Фридо узнал о том, мы с Эсрой встречаемся. Поэтому для этого было только одно объяснение: он настроил Айлу против меня. Он должен был, по-видимому, рассказать ей обо мне что-то по-настоящему нехорошее, потому что после этого Айла стала совсем другой, и с тех пор у нас с ней были только неприятности. Она впадала в ярость, когда после школы приходила к Эсре на работу и заставляла меня там за маминым компьютером. Если Эсра в субботу хотела переночевать у меня, то Айла регулярно звонила уже в десять утра и говорила, что не хочет оставаться у папы, потому что знала, что ради неё Эсра немедленно выскочит из кровати и помчится домой. И я никогда не забуду, как однажды она за ужином своей ногой гладила мою ногу, а потом с плачем бросилась в объятия к Эсре и, рыдая, стала выкрикивать: «Это он нарочно...»

Совершенно неожиданно Айла в руках Фридо стала оружием против меня. Ничего необычного в этом не было, в сходных ситуациях подобное случается очень часто. Но смел ли он так поступить? Имел ли Фридо право перекладывать на больную Айлу свои проблемы? Срывать на ней своё зло? Фридо — очень интеллигентный и впечатлительный человек. Я убеждён, он знал всё. Но такой человек, как он, явно не мог поступить иначе.

13

Когда начались операции, какое-то время я Эсру вообще не видел. Потом, когда самое тяжёлое уже было позади, и Айла стала снова ходить в школу, мы с Эсрой раз в несколько дней на полчаса встречались в одном итальянском кафе на Элизабетплац, против Молодёжного театра, где, стоя, выпивали по чашке кофе — кафе находилось посередине между её и моей квартирой, а его окна были всегда занавешены, так что нас никто не мог видеть вместе. Иногда мы встречались в супермаркете XL

на Хоенцоллернштрассе и, если сразу же после этого нам не хотелось расставаться, мы шли на такой риск, что я доносил её покупки до дверей квартиры, где мы на прощание ещё наспех целовались — ведь здесь в любой момент могла объявиться её мать или кто-то из сводных сестер и братьев, а то и Фридо, который здесь же, на Габсбургерштрассе, наискосок от Эсры, снимал комнату и всё равно по несколько раз в день — для контроля — проезжал мимо её дома.

В эти дни Эсра была ещё более отсутствующей, чем обычно. Никогда до этого я не видел такого лишённого выражения лица, и однажды эта пустота меня особенно поразила. Я попросил Эсру пойти со мной в ресторан, потому что я дописал роман, и хотя она вечером всегда хотела быть с Айлой, на этот раз она не могла мне отказать. Мы сидели у меня за углом, в «Романья-Антика», куда я обычно никогда не хожу, и снова говорили о том, когда же, наконец, всё это станет другим — и вдруг я увидел, что женщина, сидящая против меня, производит впечатление совершенно опустошённого существа. её глаза смотрели на меня совершенно опустошённым взглядом, губы были жёлтые и потрескавшиеся как лист пергамента.

— Что с тобой? — сказал я.

— Не знаю, — раздалось в ответ.

— Ты себя плохо чувствуешь?

— Да... кажется.

— Тебе надо лечь? Хочешь домой? — обеспокоенно спросил я, надеясь, что она скажет «нет». Я пригласил Эсру в эту ужасную «Романья-Антику» только для того, чтобы после этого мы могли ещё быстро подняться ко мне и заняться сексом. И по правде говоря, весь вечер я не думал ни о чём другом.

— Нет, ничего, пройдёт.

— А что с тобой?

— Ничего. Вообще-то ничего. Вот только... я чувствую себя так, как если бы меня здесь не было. Я сижу здесь, но меня здесь нет. Тело здесь, но не я. Ты меня понимаешь?

— И где же ты?

Эсра закрыла глаза:

— Я там не очень разбираюсь. Хочешь, чтобы я тебе описала?

Наверняка есть люди, которые с большим пониманием относятся к сверхъестественному, чем я. И всё же я сказал:

— Да... конечно!

— Подо мной огромные ледяные поля. Я лечу над ними. А надо мной — тёмно-синее холодное полярное небо. И я там совершенно одна.

— Тебе холодно?

— Да, очень.

— Может, у тебя грипп.

— Может быть.

— У тебя что-нибудь болит?

— Да нет.

— Может, ты всё-таки хочешь прилечь?

— Нет — её бесцветные губы на секунду покраснели, и она улыбнулась. — Всё-таки да, да. Я хочу лечь. Но с тобой.

14

В этот вечер мы Эсрой так и не ложились. Правда, я быстро расплатился, и мы пошли ко мне, — но дошли мы только до кухни. Эсра — пока я заваривал нам чай — сзади обняла меня и почти сразу же стала расстегивать мои брюки. До этого она какое-то время очень нежно тянула и сжимала мои грудные соски, потому что она знала, что меня это совершенно обезоруживает, а потом принялась, — перед этим меня даже ни разу не поцеловав, — ласкать мой член. У неё это получалось очень здорово, вероятно, она была единственной женщиной, которую я встретил в своей жизни и которая это умела по-настоящему. Но всё равно сейчас я этого не хотел, я чувствовал себя как тот чужой мужик в гостиничном номере, о котором мне когда-то рассказывала Эсра. Но шансов вырваться у меня не было. её твёрдая горячая рука беспрестанно скользила по моему члену, она охватывала его лучше, чем я мог это сам, и за пару секунд до того, как я вытек, я сказал ей, что хочу хотя бы повернуться к ней лицом, чтобы её при этом видеть и целовать.

Смотреть она мне позволила, но не целовать. И я стоял, смотрел в её лишённые блеска, чёрные татарские глаза,

и, наконец, выпустил из себя струю. Так, как я спускал с ней, я не спускал ни с какой другой женщиной — ни до, ни после неё. Каждый раз у меня внутри, где-то совсем глубоко, что-то отрывалось, какая-то застаревшая боль, которая исчезала и превращалась в давно и страстно желаемое счастье. Вот и сейчас эта жидкость выстрелила из меня, как струя фонтана. Я забрызгал своим семенем Эсрину руку и её платье, и тут она на мгновение очнулась, по её до сих пор безучастному лицу пробежала мгновенная тень влюблённости и счастья. А потом всё снова ушло, и Эсра схватила кухонное полотенце, и стала обтирать своё платье.

В прошедшие после этого несколько месяцев, пока мы с ней не разошлись в первый раз, мы почти всё время это делали только так... Так Эсра, отсутствующая, куда-то ушедшая Эсра, стала теперь и моей маленькой рабыней — во всяком случае, в том, что касалось секса. Я мог, — где бы мы почему-то ни оказывались вдвоем, — сказать ей, что я её хочу, и она тут же запускала свою руку в мои брюки. Иногда Эсра мне говорила, чтобы я снял брюки, и тогда она меня одновременно ласкала сзади или гладила между ног. Она сама никогда не раздевалась, целовала меня очень редко, а спать со мной в это время и вовсе не хотела. Тревога за жизнь дочери почти убила в ней жизнь, а я был слишком глуп, чтобы понять, что такой Эсра в большей или меньшей мере останется до тех пор, пока риск рецидива не станет равным нулю — то есть, если считать с этого момента, то не раньше, чем через пять-семь лет. 

Зиновий Сагалов

Госпожа Пышечка

Люди несправедливы. Люди неблагодарны. Тому много примеров может привести каждый. Саша Савичев повесился в своей комнате, в общаге культпросвета. Даже не повесился. Есть в нашем языке слово более точное — *удавился*. Не висел он, а был найден лежащим на полу, рядом с батареей отопления. К ней был привязан его шейный голубой с чёрным платок, другой конец которого смертельно впился в Сашину шею.

Хоронили его всем театром, набежало много зарёванных поклонниц с букетами. Мать, Антонина Ивановна, приехавшая из Астрахани с дочерью Светланой, Сашиной сестрой, стояла немая и отрешённая. Без слёз на сухом тёмном лице. Накануне в милиции ей сказали, что это суицид, других версий нет. А причина? Двадцать два года, роли одна лучше другой, красавец. В чём причина, не переставала думать она. Милицейские дядьки хмуро пожимали крутыми плечами. Разбираться некогда и не к чему. Покойного не воротить. Может, безответная любовь или карточные долги, кто знает. Дело, мамаша, закрыто. Два билета до Астрахани в кассе брони на Северном вокзале.

Мать и дочь увозили с собой потёртую спортивную сумку *Рита* с Сашиными шмотками. По распоряжению глав-

Зиновий Сагалов (1930–2020). Драматург, прозаик, поэт. Окончил отделение журналистики Харьковского госуниверситета. Работал в НИИ, газетах, издательствах. Возглавлял литчасть театра. Пьесы поставлены в театрах Украины, России, Германии, Казахстана, Израйля и США. Публикации в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Нева», «Молодёжная эстрада», «Райдуга», «Исток». Отдельные сборники драматургии: «Три жизни Айседоры Дункан» (1998), «Седьмая свеча» (2001), «Клип, или Забавы мертвецов» (2001), «Всемирный заговор любви» (2002), «Сестры Джоконды» (2005). Помимо этого опубликован роман «Дело Джойнт» (2003), а также книга эссе и воспоминаний «Действующие лица» (2013). Отмечен рядом премий и наград. В Аугсбурге создал свой авторский театр *Lesedrama*. В Германии с 2001 года. Жил в Аугсбурге.

Публикация планировалась к 90-летию автора. 11 сентября 2020 года, за 8 дней до своего юбилея, Зиновий Сагалов ушёл из жизни.

ного, в литчасти подобрали его фото из спектаклей, рецензии, тетрадоочки с ролями. Всё, что оставила его короткая артистическая жизнь.

Накануне Сашу поминали. В фойе были составлены впритык несколько столов, разложены бутерброды, принесенные из дому салаты и пирожки. Кутью батюшка не благословил — не положено, покойный наложил на себя руки. («От диавола пришла сия мысль, — сказал он. — Во всяком грехе человек имеет время покаяться, но самоубийством одновременно умерщвляется и тело, и душа».)

Антонину Ивановну усадили рядом с главным. Со стен фойе на неё смотрели улыбающиеся лица актёров, Сашин портрет был как раз напротив. С траурной чёрной лентой наискось, но ещё среди живых. «Самый красивый, — думала Антонина Ивановна. — Дурачок, глупышка, что же ты натворил».

Юлий Адамович, главный режиссёр, скорбным баритоном произнёс о Саше несколько добрых слов. «Гордость нашего актёрского цеха... только-только раскрывался талант... готовили документы на звание... потеря невозполнимая...» И ещё о ролях — сыгранных и будущих.

Пили не чокаясь. Говорили не спеша, вспоминали. Антонине Ивановне всё было интересно. Два с половиною года театральной Сашинной жизни были для неё загадкой. Домой за всё время он приезжал дважды — оба раза на несколько дней. На вопросы отмалчивался, шуткой гасил упрёки.

— Первый раз я увидела его, когда он вводился, — сказала актриса Гурина. — На «Без вины виноватых». «Вот твой сын Гриша, знакомьтесь» — сказал Юлий Адамович. Я же Отрадину тогда играла. Ну и обалдела, честно, от его красоты. Волосы, помните, огненно-рыжие, длинные, волнами на плечи... И синие глаза к ним, надо же, как природа подобрала, глубокие, морского отлива. Замерла я, а тётка уже и тогда в летах я была, роль забыла, спотыкаюсь. Стою, глаза на него таращу. Тяжело мне было играть с ним, любовалась, как своим сынком. Да простит меня мама.

Слово взял Миша Долматский:

— Сашка купался в славе. Тёлки забрасывали его цве-

тами, дежурили у служебного. Но к бабам, извините, он был равнодушен. Просто никакой. Всё книжечки почитывал.

Юлий Адамович дал слово пожилому актёру с обрюзгшим испытаным лицом, Рогульскому. Главный называл каждого по фамилии — понятно, что он делал это для матери.

— От природы Сашок нежный был, ласковый, — сказал тот. — Мы с ним в «Королевстве Тру-ля-ля» играли. Я короля, он Принца. А потом Юлий Адамович дал ему Принцессу. Его первая женская роль. Сначала Сашок тушевался, а потом ничего, сам увлёкся. Удачная была ролька. Малышня до конца не могла поверить, что он не девка.

— Мне кажется, — задумчиво сказал художник театра Руслан Соболев, — что женские роли ему удавались лучше. Больше органики, как это ни парадоксально. Вспомните, с каким озорством он сделал Агафью Тихоновну в «Женитьбе». Или «Пышку».

— Эта Пышка и сгубила его, — задумчиво произнесла Рита Савельева-Панкратова. — Не его была роль, и не надо было браться.

— Ты бы, конечно, сыграла гениально, — с сарказмом произнёс Руслан. — Одним жирком потрясла бы зрителей.

— А ты раскрой Мопассана и прочитай, какой она была, эта Пышка. Сдобная булочка, а не сорок шесть в бёдрах.

Юлий Адамович постучал вилок по стакану:

— Товарищи, у нас всё-таки не производственное собрание. Мы, сдаётся, собрались по другому поводу. Пышку Саша играл блистательно. Не мне вам говорить. Большинство из вас было в Руане, на фестивале. Видели, что творилось в зале. А этих «Пышек» во Франции чуть ли не в каждом театре. И вот, пожалуйста, приезжает российская глубинка и показывает господам французам совсем другую Пышку — современную, страстную, обворожительно красивую, с нервом и страстью. А не допотопную толстуху из руанского публичного дома. Прости меня, Рита.

Мать сидела молча, опустив глаза, уйдя в своё горе. Волосы её, начинающие уже седеть, были прикрыты тёмным платком — он то и дело сползал на лоб, она его поправляла.

Говорили, как и положено, только хорошее. Добрая душа был её Саша. Кому-то занял до зарплаты, кого-то угостил в кафе. У кого-то крёстным был. Вот только компаний больших не переваривал. Это ещё с детства, она это знала.

Хороший и добрый. А ведь петлю просто так не накинешь. Была же причина. Милицейским дядькам возиться неохота, отмахнулись. Но и в театре на поминках не обронил никто такого, за что можно было бы ухватиться. Чтобы понять.

Уезжали на следующий день. На вокзале к отходящему уже поезду подошёл средних лет мужчина, модно небритый, в дорогом джинсовом костюме, с небольшой барсеткой на ремешке. Поклонился, выразил соболезнование. Потом вынул из барсетки конверт, протянул его матери. С улыбкой, как давно знакомому человеку. Она отступила от неожиданности, спрятала руки за спину.

— Берите, берите, — сказал человек, продолжая улыбаться. — Это мой долг. Фамилия моя Барышев.

— Нет, нет! Мне ничего не надо.

Она чувствовала, как её бросило в жар.

Барышев протянул визитку:

— Звоните, если что...

И тут же исчез в сутолоке перрона.

По приезде в Астрахань, в первый же выходной, мать расстегнула змейку на Сашиной сумке, стала не спеша разбираться в вещах. Электрочайник, решила, оставляю себе, вещь не молчащая, живая, будет пыхать и напоминать о нём. Будто сидят они на кухне, втроём, тихий вечер за окнами, пьют чай, как раньше, и всё у них тип-топ, мирно, спокойно.

Некоторые вещи приводили её в недоумение. Рубашки, например, дико яркие, кричащие, с драконами и павлинами (неужели Саша мог их носить?), отдам все до одной племянникам. Туфли «Саламандра», сорок второй размер, придутся впору дяде Мите. Вот только каблук высокий, непонятно зачем. Концертный костюм отдать было жаль, повесила его в шкаф. Тоже для памяти.

Постепенно добралась до дна, а там объёмистый целлофановый пакет. И у неё, и у пришедшей из школы Светланки глаза округлились от неожиданности. Ажурные женские чулки, розовый с кружевами пеньюар, стринги и ещё какая-то совсем немужская чертовщина.

— Су-у-упе-ер! — задохнулась от восторга Светлана. — Клёвая коллекция! Ты ничего не понимаешь! Это вот «боди» называется, а вот, видишь, бюстгальтер с чашечками на подкладке. Знаешь, какие это бабки? Наверное, своей девчонке купил в подарок. Я себе возьму, ладно, мамуся?

— Ещё чего? На панель захотелось? — сдвинув брови, сказала мать. — Я их сожгу.

— А может, это для роли? Помнишь, говорили, что он Пышку эту играл на фестивале, а она проституткой была. Не жги, это ведь последняя Сапина роль.

Девочка права, подумала мать. Что за Пышка такая? Взяла в районной библиотеке томик Мопассана, стала читать.

Война. Французы разгромлены. Город Руан захватили немцы. Жизнь словно остановилась: лавки закрыты, улица нема и пустынна. Лишь изредка какой-нибудь обыватель, напуганный этим безмолвием, торопливо пробирался вдоль стен. По улицам шли завоеватели, раздавались команды на незнакомом гортанном языке.

Обыватели, торгаши и лавочники сначала со страхом смотрели из-за ставень на победителей. Но вскоре привыкли к ним, оцепенение прошло, открылись кафе, пошла бойкая торговля. Денежки заколачивать можно при любой власти. Побеждённые, забыв о гордости, начали угождать победителям. Несколько человек отважилось ехать в соседний город, Гавр. В дилижансе десять человек — чванливые буржуа, породистые аристократы, перебирающие чётки монахини. И среди них та самая Пышка, девица из борделя.

Антонина Ивановна представляла себе плетущийся по дорогам войны старую колымагу, этих достойных людей общества, которые, не скрывая своего презрения, бесцеремонно разглядывали эту продажную женщину, случайно попавшую

в их компанию. Конечно, ремесло её достойно осуждения. Но ведь она добрая, улыбочивая, предложила разделить с ней трапезу из своей необъятной корзины.

Но вот дилижанс добрался до гостиницы, остановился на ночлег. А утром прусский офицер запретил запрягать лошадей. Пока мадемуазель Элизабет Руссе, то есть Пышка, не переспит с ним. Казалось бы, для неё это дело привычное. Но... С любым другим, за деньги или без, пожалуйста! Но только не с затынутым в корсет надменным прусским капитаном. Стреляя в её соотечественников, а теперь хочет позабавиться с ней: дескать, ему всё дозволено в этой покорённой и поверженной стране.

Антонина Ивановна увидела вдруг Сапу. Бледное, как маска, лицо, сжатые губы.

— Скажите этому негодяю, этому скоту, этой прусской сволочи, что я никогда не соглашусь, слышите, никогда, никогда, никогда!

Книгу пришлось отложить: прибежала Светланка, взбалмошная, хип-хап, с выпученными глазищами: ура, в турпоход! На два дня с ночёвкой. На озеро Лиски. Где наш спальник? Как нет? Тогда одеяло тёплое, сказали. Консервы, фанту, яйца отвари, в общем, ты знаешь. Я возьму Сапину сумку, ты не против?

Утром стали укладываться. На дне сумки, под пластиком, вдруг обнаружился небольшой потайной отсек. Светланка вытащила оттуда клеёнчатую тетрадь — до половины она была написана чётким Сапиным почерком.

— Да я же всё вычистила, — удивилась Антонина Ивановна.

— Хлопушка с сюрпризом, — хохотнула дочка. — Разбирайся, мамуся. На два дня хватит. Не скучай!

И умчалась.

Дневник? Но Сапа никогда не вёл дневников. Подсмеивался над теми, кто занимался этой писаниной. Она отложила книгу, полистала тетрадь. Буквы были мелкие. Много помарок и вставок. Пришлось надеть сильные очки.

12.01.2004.

Фестиваль! Фестиваль! Это словцо, как диковинная птица, влетела в наш театр. В гримёрках, в буфете, в курилке на железной лестнице только и говорят о нём. Ради этого я и купил эту тетрадь. Вперёд, летописец Нестор!

Где этот чёртов Руан, куда мы должны ехать? Про Париж знаем, про Марсель тоже слышали... Кто-то принёс атлас, нашли. Ага, вот куда мы возем нашу «Пышку»... Север, Нормандия... Городок небольшой, но с историческим прошлым.

Рита Савельева-Панкратова ходит как королева. Главная — она ведь Пышка. Толстенькая, круглолицая, грудь прямо вываливается из платья. Точно как описал товарищ Мопассан, лучше не найти. И попкой виляет, и ножку невзначай покажет, зажигалочка, короче, мужиков сшибает на раз. Ходит по всему театру, выпендривается: «Кто вас во Францию везёт, гады? Тот-то». В чём-то она, может быть, и права. И критики, и отборочная комиссия вознесли её до небес.

14.01.2004.

Мы с Мишей Долматским играем Прусского капитана. В очередь. Мне кажется, что у Мишки получается лучше. Высокомерен и «хамовит», как сказано у автора.

У меня этих красок, наверное, меньше. Кто из нас поедет в Руан? Пока тёмная ночь.

17.01.2004.

Вызывал главный. Объявил: едет Савичев! Мишка ходит смурной, я его понимаю. Володя Барышев подарил мне дигитальную фотокамеру. Дорогушая штука. 12 мегапикселей. Чтобы я все соборы и дворцы сфоткал. И приказал вести дневник. Это мучительней всего.

29.01.2004.

Катастрофа! Ритка попала в ДТП. Чудом жива осталась, ещё в реанимации. Руан, чувствую, накрылся. Куда же ехать без Пышки? Всеобщая паника.

10.02.2004.

Главный принял решение. Не поворачивается рука записать. Вчера вызвал меня, и сходу: «Будешь играть Пышку. Учи роль». — «Я?» — «Да, милый Саша. Рита выйдет через месяц, не раньше. А у нас 29 марта спектакль в Руане. Я не могу рисковать. Перелом серьёзный. Срастётся, не срастётся... А ведь у неё и талец, и пробежки... Ты же знаешь».

Я не знал, что сказать. Поговорил с Мишкой. «Тут даже двух мнений быть не может. Народ тебе не простит». Втайне, конечно, он был рад, что теперь уже наверняка его Прусский капитан поедет в Руан. Подло, свинство... Не знаю, что делать.

19.02.2004.

Пошли ежедневные репетиции. Я пока что ничего не понимаю. Зато Юлий Адамович доволен, придумал новый рисунок роли.

— Мы едём в город, где сожгли Орлеанскую деву. И вот... стукнуло в голову. Представляешь, если в твоей Пышке, продажной девке из руанского борделя, проснулась Жанна д'Арк, национальная героиня Франции. Бросившая вызов захватчикам. В тебе есть то, что мне нужно: гордость, достоинство, готовность к самопожертвованию. Такой Пышечки, Саша, ещё не было. Конечно, для Риты это травма. Может быть, посильнее той, что загнала её в больницу. Но что делать, такова воля Божья... (Когда люди делают подлость и сами знают об этом, они ссылаются на Божью волю.)

23.02.2004.

Сегодня был прогон нового варианта «Пышки». Я пригласил Володю Барышева, вернее, он сам напросился. От комиссии из Москвы нарисовалась критикесса в чёрных очках и клетчатых брюках. Она, по сути, должна была решить судьбу нового варианта и дать добро на поездку. Ничего не могу сказать о себе. Не играл, а жил. Кажется, излишне форсировал. И Жанна, и Пышка переплелись во мне, слились воедино, когда я произнёс слова, ради которых мы ставили спектакль:

— Скажите этому негодяю, этому скоту, этой прусской сволочи, что я никогда не соглашусь, слышите, никогда, никогда, никогда!

«Гениальное решение!» — сказала критикесса.

Ура, мы едем! Едем!

1.03.2004.

Из декораций везём самое необходимое. За кулисами, в коридорах стоят деревянные контейнеры с надписями на французском языке *République française, Rouen*.

Меняем рубли на евро, закупаем консервы. Ждём виз.

3.03.2004.

Всё летит к чертям! Триллер какой-то, дурдом! Утром помреж Ваня собирает всех «руанцев» в кабинете главного. В чём дело? Ждём Адамовича. Приходит, туча тучей. По глазам ясно, что уже принял для разрядки. Молча сел за стол. Обхватил голову руками. Великий трагик. Держит паузу. Что же стряслось?

— Друзья, — выдал наконец, — мне стыдно глядеть вам в глаза. Убейте, презирайте, ищите себе другого худрука. Не оправдал, как говорится, но моей вины нет. Кинули меня в министерстве. Вчера пришёл факс, вот он... Эти суки... Суки! Другого слова нет! Решили послать в Руан другой театр, не нас. Какая-то вшивая студенческая группа с современными штучками-дрючками.

— Да как же так?

— А вот так. Звонил им, умолял. Всё без толку. Спектакль у вас отличный, говорят, но традиционный. Французам нужен сюр. Ищите олигарха, пусть спонсирует вас. Мы не против.

— Они что, охренели? — крикнул Мишка Долматский. — Бошки им скосило, точно... Это ж тысячи баксов... да нет, десятки или даже сотни тысяч.

— А если Барышева разжать? — вдруг предложил помреж Ваня. — Он, говорят, водкой пол-Европы залил. Острова покупает. Для него это копейки, раз плюнуть. И Савичев, между прочим, с ним вась-вась.

Все на меня смотрят, ждут. Я молчу.

— Попробуй, попитка не питка, — тихонько говорит Мишка Долматский.

— Барышев мужик не поганный, в театр к нам свою дочку приводил. Мне, между прочим, бутылку коньяка от него поднесли, — сказал, сладко жмурясь, старик Рогульский. — Я из Руана две ему привезу... Знаете, из всех этих мажоров он самый немажористый.

— Стучаться надо во все двери, — сказал главный. — Мне нравится, друзья, ваш запал. То, что мыслите конструктивно, отступать не собираетесь.

И, обратившись ко мне, спросил:

— Вы действительно, Саша, тусуетесь с этим Барышевым? Официальным тоном, на «вы».

— Мы знаем друг друга, встречаемся иногда в клубе, — сказал я. — Он приходит на мои спектакли. Но... Сами понимаете, какая может быть дружба между актёром с зарплатой домработницы и олигархом. Табачок врозь.

— Я понимаю, Саша, что вам, наверное, неловко обращаться к господину Барышеву с такой просьбой. Сумма очень велика, можно сказать — неподъёмна. Даже, полагаю, для него. Не хочу на вас давить. Сможете — и я, и весь театр будем помнить вечно. Как говорится, по гроб жизни.

5.03.2004.

Меня загнали в угол. Не спал всю ночь. В театр хоть не показывайся.

— Привет, Саша, ходил к Барышеву?

— Что ты тянешь, старик? Ещё парочку дней, и пиसेц.

Некоторые просто молчат. Проходят мимо, едва кивнув. Это ещё хуже.

Ритка прислала из больницы записку: «Старая Пышка — новой. Сашенька, милый, никаких обид на тебя, клянусь. Люблю и преклоняюсь перед твоим талантом. Сделай, что в твоих силах. Все надежды на тебя».

6.03.2004.

Идти к Барышеву — как на Голгофу. Ну не привыкли мы с матерью ходить с протянутой рукой. Когда отец кинул нас,

скрутило здорово, жили на одну её зарплату. Старшая медсестра, сколько она там получала? Я ещё в школе был, а Светлана только в садик пошла. Машинка у нас пишущая была, помню, «Ундервуд» допотопный. Ночами, уложив нас, мать стучала по клавишам. 11 копеек за страницу. А когда в одной конторе договаривалась за 13, праздник был. Так и жили. До сих пор по ночам стучат над ухом клавиши, звякает в конце строки каретка. Мы ведь тогда в одной комнате жили. Как мы со Светланкой спать могли!

Позвонил Барышеву. Вечером, говорит, жду тебя в клубе.

Заливной судачок, шампанское, креветки, лёгкая беседа.

Ни о чём, всё вокруг да около.

— Скучать буду по тебе, Саша.

Положил на мою руку свои холеные тонкие пальцы, блеснув бриллиантиком в перстне. Долгим взглядом смотрит прямо в глаза. Улыбается.

— А ты? — глядя на меня с прищуром, руку не принимает.

— Забудешь меня в этом Руане.

— Можете не волноваться, Володя, не забуду. Мы никуда не едем.

Он опешил.

— Вот так новость. В чём же дело?

Я в двух словах объяснил ему ситуацию. Он расхохотался:

— Так и сказали — ищите олигарха? Мыслители! Дельный совет: их же, как зайцев в лесу, этих олигархов. И каждый норовит в рагу попасть. Вот один из этих зайчат насупротив тебя сидит. Ты же за этим сюда притаранил? Не вилай, Саша. Колись.

— В общем да.

— И мыслишь, что отстегну тебе пару миллиончиков?

— Иначе не пришёл бы.

— Правильно. И знаешь, что я тебе отвечу? Да, Саша. Но не театру. Мне на него по барабану, понял? А тебе лично. Александру Савичеву. Чтобы ты свою «Пышку» показал миру. И ещё потому, что я тебя люблю.

Не первый раз я слышу от него подобные слова. Шутит или всерьёз?

— Может, и ты меня полюбишь? — добавил он тихо.

Я вскочил, не помня себя от ярости. Рука потянулась к бутылке с шампанским. Моя миролюбивая рука! Я бы убил его, клянусь. Не Барышев был передо мной, а наглый прусский офицер с самодовольной усмешечкой на тонких губах.

Он поблел, ловко схватил меня за руку.

— Но, но! Я ещё жить хочу! Остынь, Саша. Шутки понимаешь? Поставь бутылку. Таким напитком грех облить мою голову. Не шампунь ведь, а шампань, Саша. «Вдова Клико», девятьсот восемнадцатого года. Это лучший, по их летописям, год сбора винограда.

Я сел. Он налил мне шампанского,

— Пей, Саша. Поговорим как мэны. Люблю — не люблю — это фантики. Обёртки от конфет. Поговорим о сути. О самой конфетке. Мы, как тебе известно, живём в век капитализма. Как ни печально, Саша, но благодетелей нет, есть только взаимная выгода. Я нужен тебе... вернее, не я, а мои деньги. А ты нужен мне. Я хочу предложить тебе выступать в моём клубе «Холидэй», в ночной программе, для серьёзных пацанов. Ты артистичен, красив, великолепная пластика. Работа после 12, театру не помеха. Мой человек подготовит контракт. На полгода, а там посмотрим. Ну как? Руан не Париж, но стоит мессы? А, Сашок?

В тот же день.

Театр ликует. Меня целуют. Актёры как дети. Починили испорченную игрушку, вот и праздник. После утреннего спектакля, когда закрыли занавес, вдруг начали петь: «Мы едем, едем, едем в далёкие края!» Чего мне это стоит, никто не знает. Я улыбаюсь.

Пришёл человек от фирмы Барышева, принёс на подпись контракт с клубом «Холидэй». На восемь месяцев. А говорил, кажется, о шести? Ладно, чёрт с ним!

Не буду мелочиться. Театр получил официальное подтверждение, авизо, о перечислении трёх миллионов на наш счёт. Адамыч тут же отправил в Министерство факс: «Вопрос с финансированием решён. Ускорьте высылку виз».

— Как же ты его уломал, старичок? — допытывается Мишка Долматский. — Ну ты и дипломат!

О контракте с клубом молчу.

Антонина Ивановна отложила Сапину тетрадь, сняла очки. «Молчит, потому что вяпался». И у неё было предчувствие чего-то непоправимо тяжёлого, неминуемого, которое вот-вот должно случиться и придавить её своей тяжестью.

После этой записи в дневничке сразу пошли руанские впечатления. Торопливые, беглые заметки. Саппа впервые был за границей, всё его интересовало. В первый день им устроили экскурсию по городу.

«Готика Собора Руанской Богоматери — какое величие! Устремлённая в небеса узкая стрельчатая башня, была, оказывается, долгое время самой высокой точкой земной постройки.

На площади Старого рынка — церковь святой Жанны д'Арк. Место её казни. Я стоял там, где пылал костёр, меня обдавал его жар, — записывал Саппа. — Закрыв глаза и видел её. Бумажный колпак на голове, на нем одно слово: „Еретичка“. Факел с огнём, вспыхивает сухой хворост, Жанна, вся в языках пламени, кричит епископу: „Я вызываю вас на Божий суд“. Странное чувство охватило меня — я был ею. Быть может, это только мои актёрские фантазии...»

29.03.2004.

Отыграли! Вызывали 12 раз. Отмечали у главного. Расслабиться не дал — завтра в 7.30 отъезд. Посидели чисто символически. Везём диплом фестиваля и я лично приз зрительских симпатий. В Париже, в аэропорту «Шарль де Голль», в киосках сувениров, поспешно спускаем оставшиеся еврики, наскоро покупаем подарки близким и знакомым. Огромный город, стекло и металл, залитый ослепительным светом. Тут запросто можно заблудиться. Что и произошло со мной — я ведь совсем не ориентируюсь в пространстве: попал не в свой терминал. Адамыч чуть не рехнулся: уже регистрация на рейс закончилась, а меня нет. А вдруг я решил просить здесь политическое убежище? Представляю себе заголовки газет: «Русская Пышка возвратилась на свою историческую родину»!

5.04.2004.

Дома! Можно было бы подвести черту в моём «Руанском дневнике». Но привык уже царапать. Что ж, как говорится, продолжение следует.

Сразу же привычные проблемы. Банковский счёт театра закрыт. Зарплату задерживают. Главный решил послать «Королевство» на выезд, заработать бабки на «горшочниках». А Барышев сразу же после нашего приезда из Франции приставил нож к горлу: «Холидэй» готовит новое шоу, я вызвал из Москвы постановщика, ничего не хочу знать — немедленно приступай к работе. С театром я всё улажу.

11.04.2004.

Всесильный человек этот Барышев! «Бульдозеры б делать из этих людей!» Вместо меня на Принцессу ввели молоденькую девчонку из массовой. И ничего, представьте себе!

13.04.2004.

Барышев познакомил меня с Димой, шоуменом из Москвы. Гаденький, бородастый, презрительная снисходительная усмешка, как у любого говна из столицы, приехавшего к нам в провинцию. Кинул на стол мятый замусоленный сценарий. «Завтра на репетицию. В 10 вечера».

Ну и ну! Куда меня, идиота, занесло! Листаю захватанные липкими пальцами страницы. Этот Дима, видимо, возит сценарий по городам и весям. Эротическая программа под названием «Волшебные страсти», рассчитана на 60 минут. Для людей, как сказано в аннотации, желающих увидеть интригующее театрализованное, костюмированное стриптиз-шоу.

Пляж где-то в Таиланде, «Патайя-отель». Экзотика, пальмы, земной рай. Обнажённые миниатюрные тайки пляшут на берегу. Их задача — расслабить зрителей. «Это яркое эротическое лесби-шоу, полное страсти, дурманящих поцелуев, волнующих движений, пика эмоций и обострения чувств. Зажигаемые страстные девушки задерживаются на каждой открываемой части тела, лелеют и ласкают её. В продолжение этого захватывающего представления — приватный танец для желающих лучше разглядеть все самые впечатляющие особенности современной любви, не признающей различия полов. Это уже, как я понял, касается меня!» ОН — неотразимый мачо, ОНА — женщина-вамп. Страстный танец пары с медленным

стриптизом. Оба обнажаются до тех пор, пока становится ясно, что ОН — на самом деле она, а ОНА...»

Дальше читать не мог, помчался к Барышеву. Кинул ему сценарий.

— Полнейшее порно! Мерзость! Я артист! Как вы могли подумать, что я... буду участвовать в этом борделе?

— Это не порно, Саша, — спокойно, осаживая мой пыл, произнёс Барышев. — Даже депутаты Госдумы не могут провести границу между эротикой и порнографией. Это во-первых. А во-вторых...

Он вынул из сейфа наш контракт.

— Вот, милый мой... это твоя подпись? Можешь взглянуть... Здесь оговорены часы работы и длительность нашего сотрудничества — восемь месяцев. А про твои роли... кем ты будешь в моей программе — Бабой-ягой или стриптизёршей — молчок. Значит, это мои проблемы, за это я три лимона выложил вашему так называемому театру. Иди, Сашенька, трудись. У меня, к сожалению, через несколько минут важная встреча. Адью, как говорят в Руане!

14.04.2004.

Это была его месть. За бутылку шампанского, которую я хотел разбить об его башку. За то, что позволил себе так отреагировать на признание в любви. Восемь месяцев рабства — как раз до Нового года. Всё предусмотрел, мерзавец!

Каждый день после вечернего спектакля тащусь в клуб на репетицию. В театре, конечно, никому. Шоумен Дима учит меня искусству мужского стриптиза. Забраковал мои носки и обувь. Будешь выходить босиком — это само по себе сексуально. Наденешь рубашку с драконом. Во, супер!

Появилась моя партнёрша. Она побрита наголо.

— Мне сожгли волосы в парикмахерской, — хриплым от курева голосом сказала она. — Но ты не волнуйся, мальчик, на программе я буду с шикарной головкой. Зови меня Сирена. Это мой псевдоним.

Дима начал ставить наш первый танец.

— Подойди к ней в ритме музыки, прикоснись к ней. Она постепенно входит в экстаз. Пусть расстегнёт у тебя пуговку на брюках. Сирена, прикасайся к нему в танце. То ручкой, то попкой. Активнее, наглее! Сапа, освобождай брюки, пусть падают к ногам. Теперь важно избавиться от них, не запутавшись. Так, молодец! Всё время покачивай бёдрами, демонстрируй свою сексуальность. Пошёл танец! Смелее, разнузданнее. Подходим к самому главному. На глазах зрителей происходит перемена полов. На Сапе стринги и тряпочка на груди. Сирена изменяется пластически — движения резкие, грубые. Она госпожа. Бросает Сапу на пол, избивает его.

Я присел на край сценической площадки. Меня тошнило.

— В чём дело? Давай работай. Тоже мне, принцесса на горошине.

Я надел джинсы, куртку и, не прощаясь, ушёл. Будь что будет — штраф, тюрьма, что угодно. Только не это дерьмо, в которое меня окунули с головой.

20.04.2004.

И всё же я сдался. Два раза в неделю в клубе собирались крутые пацаны, были среди них и иностранцы — очевидно, водочные партнёры Барышева. И мы с Сиреной и тайскими малолетками выделялись перед ними.

В тот же день.

В театре стало известно о моей ночной жизни. Мишка Долматский наткнулся в интернете на страничку клуба «Холидэй», где были наши с Сиреной фотографии. И рассвистел всем и каждому.

— Так ты, Сапа, оказывается, в стриптиз-баре подмолачивашь? — с ехидцей сказал старик Рогульский. — Может, и меня там приткнёшь в пидоры? А? Да меня бы ни за какие бабки не затянули в этот бордель. Артист ты или не артист?

22.04.2004.

Сегодня выдали зарплату за полтора месяца. На радостях скинулись на банкет — ведь ещё не отмечали наши французские

гастроли. Меня не вспоминали, будто и не было за столом. Потом Ваня, помреж, сказал:

— За госпожу Пышечку! Виват!

Все заржали. Забыли, как увивались вокруг меня, как упрасивали, как умильничали. Нет, не так я сыграл Пышку, как нужно было. Не прусский офицер, с которым она переспала, был её врагом. А те, кто в дилижансе, продолжавшем свой путь.

«Никто не смотрел на Пышку, не думал о ней. Она чувствовала, что её словно захлестнуло презрение этих честных негодаев, которые сначала принесли её в жертву своим интересам, а затем отшвырнули как грязную, ненужную ветопшь».

23.04.2004.

На двери моей комнаты кто-то старательно и чётко написал чёрной краской: «Госпожа ПЫШЕЧКА!»

На этом кончались Сашины записки. Несколько последующих страниц были вырваны под корешок. Что-то написанное перед самой смертью. О чём он ещё хотел сказать? Может быть, эти последние слова были адресованы ей?

Беззвучные слёзы катились по тёмным с морщинками щекам Антонины Ивановны. Она заставила себя встать, открыла нижний ящик комода и вынула шкатулку палехской работы с лакированными богатырями. Всё ценное, что у неё было: старинные бабушкины серьги белого золота с бриллиантами, родительские обручальные кольца, кулон с янтарём и ещё кое-какая бижутерия. В скупочном пункте драгметаллов ей предложили 625 зелёными, за всё вместе со шкатулкой. Она согласилась — даже не ожидала такой суммы. В рублях это сразу превратилось в тысячи.

Перед отъездом написала Светланке записку: «Уезжаю в Болотинское, к дяде Мите и тёте Наде. Приеду во вторник — среду, суп и жаркое в холодильнике, на второй полке. Мама».

Поминали Сашу с соседями. Её приезд пришёлся на сороковины. Многие в Болотинском помнили покойного ещё мальчонкой, приезжавшим из города на лето с удочкой и сачком. Про то, что он сам свёл счёты с жизнью, Антонина Ива-

новна никому не сказала. Ехал с другом на мотоцикле и попал в аварию. Обоих на месте.

Пили щедро. Разглядывали Сашины фотографии из ролей. Тётя Надя всё время беззвучно всхлипывала и утиралась кухонным полотенцем. Потом попели песни, печальные, вполголоса, и к ночи разошлись.

Утром занялись делами. Дядя Митя примерил Сашины туфли «Саламандра» — пришлось впору, немецкая работа, крепкая. Он был доволен, ходил по дому, не снимая их. А каблук, не волнуйся, Тоня, сточим — у нас тут такой фасон не пройдёт. Племянники, Серёжа и Кирилл, обрадовались рубашкам, даже чуть не подрались — кому с павлином, кому с драконом.

Оставшись одна с дядей Митей, мать как бы ненароком завела разговор о Пашке Громе.

— Блаул, блаул по белому свету, сей момент дома сидит, лапу сосёт, — сказал дядя Митя. — На нарах-то миску с баландой всенепременно поднесут, а на воле, брат, шалишь, попотей сперва.

— У меня, дядя Митя, к нему разговор есть. Съезди за ним.

— Ты что, Тоня, какой такой разговор? Он же за мокруху девять лет отдубасил.

— Прошу тебя, дядя Митя.

Старик сел на велосипед и умчался. А вечером явился Пашка Громов, с прежней презрительной ухмылкой на тёмном цыганском лице. В густых чёрных кудрях его, памятных ей с юных школьных лет, уже настырно пробивалась седина. Антонина Ивановна дала знак дяде Мите, тот вышел в сад, оставив их вдвоём.

Антонина Ивановна вынула из сумочки пачку денег. Достала визитку Барышева, положила её сверху.

— Этого человека надо. Кончишь дело — получишь столько же. Понятно?

— Чего ж не понять? И дурному яснее ясного.

Он положил деньги в карман старых обтрёпанных брюк и вышел. Запёл дядя Митя:

— Ну? Поговорили?

Антонина Ивановна кивнула. И улыбнулась. Впервые за несколько последних недель. 

Анжелика Астахова (ПТХА)

Теплота

День шестой. Неубрана кровать.
Стреляю мысленно по галкам в амбразуру
Мёж штор. Пришёл колядовать
Под маской зайчика ребёнок белокурый.
С щедротой благоденствия, как встарь
Он обходил соседей в час непоздний,
Янтарных глаз распахнутые звёзды
Его не ведали, что сам он — маг и царь,
Самим явленьем на моём пороге:
Спел песенку, и, взяв конфет, исчез,
Катализатором алхимии небес
Кристаллизуя памяти чертоги.

Вспять — лет сорок, с лишним, открутив,
Диспетчера вокзала слышу карканье:
«Со всеми остановками в пути
Электропоезд следует до Харькова...»
Я рядом с мамой, мама — у окна,
Окно узорами сковал пушистый иней.
Мы едём в гости к Нине и Полине,
Спивая кромки снежного сукна.
Проходит час. Народ в вагоне смолк,
И можно было видеть сквозь ресницы:
Тепло от тел, едва вспорхнув, искрится,
Летит снежинками под самый потолок.

Анжелика Астахова (1969, Белгород). Журналист. Автор поэтических сборников «Стрелы золотые. Птичка», «Стих-ап-Стих», «Эх-ма!». Публикации в литературных альманахах «Арфа Давида», «Ганноверская весна», «Третий этаж», в журнале «Наш современник». В Германии с 2016 года. Живёт в Берлине.

Сон или явь? От станции бреду,
Звеня остекленевшими ногами,
А хлопья, наигравшись в чехарду,
Без спроса забрались на ручки к маме.
«Билетики по пятаку берём!» —
Ревёт кондукторша, и выдаёт нам сдачу.
В ответ трамвай гремит, стучит, а значит,
Мы одолеем этот путь вдвоём.
Что б отворить калитку без ключей
Известно таинство! Тропа сквозь сад кривая.
Полина с Ниной не подозревают,
Какие гости будут к ним в Сочельник.

«Тук-тук! Сюрприз!» — Протопав по сениям,
Проходим в дом, тут нас разоблачили,
И с охами и ахами сажали прям
К огню трещащему поленьями в печи.
Дубовый стол под полотном льняным
Конём хромым от старости кренится,
Очнувшись, заскрипела половица,
Протяжно загудел в камине дым.
С хрустящей корочкой торопится слегка
Покинуть стены духового шкафа,
Неописуемый распространя запах,
Горшок топленого по-русски молока.

«Ой! Кровь в ногах кипит!» — срываюсь я.
Меня кладут в постель под образами,
За чтением глав из Книги Бытия
Стрекочат спицы бабушки вязальные.
А завтра — Рождество! Среди посуды,
С закусками, что поперёк стола и вдоль,
С картошкой жареный домашний кроль,
Горчицы золото, и хрен до слёз, и студень.
Под «Отче наш, иже еси на небеси!»
Вплывет, ничуть на походя на пищу,
Под шубкой розовой до серебра начищена,
В хрустальных лодочках — селёдка-иваси.

Тварь одиночества отраду не грызёт,
А капля радости урюмый камень точит.
И тот, кто собственной следует стезёй,
Её не требует ни легче, ни короче.
В котомке памяти — храню для птиц зерно,
Экстракт любви — в термозащитной фляге
Кто, как не мы — цари, волхвы и маги,
Кто, как не мы? Вот то-то и оно.
Пусть — холода, и не видать ни зги.
Заботой о душе моей согрейте:
Пошитый Ниной — кроличий жилетик,
Полиной вязанные — тёплые носки.

Возвращение

«Во дни сомнений (пауза) во дни
Раздумий тягостных о судьбах моей ро...»
Иван Сергеичу Тургеневу сродни
Затачиваю лезвием перо.
Что б белокожей девушкой тетрадь
Вдруг ожила бы и заговорила
Из горлышка зрячка спешу достать
Сияющие радужно чернила.
Возьму венозно-голубой нефрит,
И вмиг хребта вершины осенивши,
Орёл под Аксисом с Атлантом воспарит —
И только Бог окажется их выше.
Здесь, на плечах земли ветров среди,
Где от безжизненности камни стонут, верьте,
Стоять над бездной, зная — шаг один
И затанцуешь в балахоне смерти.
Отбросив в пропасть жалобные мрежи,
Бежать, вцепляясь в корни и кусты —
Во всё, что колет, кусается и режет —
Такое ж страстное, живое, как и ты.
Ворвёшься в дом и будешь восхищён
Что за стеной соседка мужа треплет

Что к шумам всем прибавился ещё
Новорождённого младенца тихий лепет
И говорить: «Я жив, но жизнь отдам
За то чтоб ты, дитя, узрел воочию
Как солнце дюльфером скользит по проводам
И день сменяется божественною ночью».

Пастух

Не помню сколько лет живу в глуши,
Где слышу ветра шум и блеянье отары.
Случилось видеть мне, как путь в степи вершит
Огнём охваченное колесо сансары.
И в стоязыком пламени, сквозь дым
Людей когда-то близких и любимых
Смог различить я смутные черты.
Не возмудив ни сердце мне, ни ум,
Катилось колесо и исчезало с ними:
Om mani padme hum¹ ... Om mani padme hum...

¹ Одна из самых известных мантр, на внешнем уровне «царь мантр» или Мантра Сочувствия, которую тибетцы произносят для блага других существ (прим. авт.).

Елизавета Курьянович

Der rote Faden

Красная тесёмка волной
простая из хлопка
хлопка одной ладони
где ладошки-ладушки где
тесёмка в советское детство
то семя семечко сердечко
кровью облилось разлилось
заплось полно и поплыло
пошло по краешку краю
родному что омут
школьная форма
шкодница школьница
шоколадница
приладила ласково
ленточку алую
на узкий манжет
(будет женщина)
будто гимнастка
взмахнула ею
подбросила змейку огня
поймала
кайма каёмочка
тонкая ниточка *nie* точка
непрерывная как пуповина
через всю жизнь тик-так-тик
Риффа-вина
кукла-буква игрушка

Елизавета Курьянович (Ленинград). Поэт, помимо русского, пишет по-немецки и по-английски. Окончила философский факультет СПбГУ и Университет Майнца. Работала на Первом немецком канале. Сейчас работает в банковской сфере. Автор сборников «Danke! Spasibo!», «So gerade/nicht» и других. Жила в Шотландии. В Германии с 2000 года. Живёт во Франкфурте-на-Майне.

не виноватая *ja*
Jabr таю *Jabr* утекаю
тесёмочной линией
по волне но не синей
синь инь янь воспрянь
пряничный праздник мой
не перестань миленький
аленький
мне есть что
ни в сказке сказать
красная тесёмочка
темечко тема языка родного
хлопчатобумажная
в галантерее по три копейки
стежками стянутая на запястье
память
в пальцах
живая.

вЛеСиДи

Прорези света меж
листьями кажутся
звёздами кажутся
режутся искрами
под ресницами
искренне под сводом
подвешенный из-под
свода возвышенный
луч превращён
в ритм стробоскоп
заиграла кора за-
зеркальными гранями
и ещё и ещё и ещё
до боли все стены все
стоны и *stones* вокруг
солнца *rockstar*
орёт в микрофон

камышпа бешены травы
расторможены подорожники
хор-хор-ошо-хор-овод
птичьими трелями
щебетом ранено
дерзко танцует зверьё
по полянам в озере
плещется пляшет
нагое и босоное
невидим в движении
живучий змей-ди-джей
ни музыки ж ни языка
эй чужой из в лес иди
L S D

Кожа

Каждый, подошедший ко мне
ближе моей кожи,
будет обвинён в грубости.
Убери свои руки, глаза, язык;
перестань вдыхать меня;
не смей обо мне думать,
прежде чем выдрессируешь
органы чувств и мысли,
сделаешь их движения
невесомыми и прозрачными,
как шифоновый шарф
цвета персика, спрятанного
в тени сочной листвы.
Помни, в отличие от персика,
шарфик однажды уже летел над
просыпающимся зеркальными
блёстками морем
и ещё помнит пальцы,
пытающиеся его удержать.
Он вдохнул свободы.

(Тогда я услышу тебя
и пойму
и откроюсь.)

Сентябрь и мольберт

Молитвенники трав перелистнув,
покорно уступаю колдовству
подкравшейся украдкой, тише тени,
меланхолической поры осенней.

Погасли в паутине облаков
закаты цвета крови с молоком
достойные пера обернута,
под крики птиц, не знающих припота.

Ток воздуха рассеивает свет
так нежно, что иных желаний нет,
чем рисовать капризной акварелью,
подавшись тёмной воле сновиденья.

У микрофона

Кому к лицу дрессировать слова,
и хлыст хорош, чтоб в ярко-красном платье
сечь выученной пластикой запястья
из росчерка — строку, из клетки — льва.

Зверь гол, как вещь, весь обращён в зрачок,
едва пульсирующий скрытой злобой, —
слыть укротительницей-недотрогой
(среди тех, кто от поэзии далёк).

Обманы зрения в обмене на испуг
отточены, и незаметен в свежих,
неженских и недетских жестах
межрёберный сжимающийся стук.

Как долго тянется минута циркача.
За антураж и напряжение сухожилий
к ногам, слетаясь, лилии ложились,
и горы падали с плеча.

Встань

Старость вкрадчива, она умеет прятаться: лёгкой
тенью ложиться в складочки улыбки, прозрачной
серой пудрой касаться румянца, редкими
серебряными змейками оплести голову, холодной
вуалью, особенно когда зима, тихонько, некрепко
обволакивать сердце. Как незаметно она умеет
отнять всё, что стало родным! Но не обманешь, не
приручишь меня: в каждом невинном жесте моей
совсем ещё юной спутницы я вижу, как стою одна, и
мне страшно до слёз. Мой, уже чужой голос слабее
дыхания: «Почему ты не можешь идти со мной?
Прошу тебя, встань и пойдём. Прошу тебя...»

Аз-арт

Звери прячут себя вдали от троп.
Чуткости слуха, ища их, не расплещи!
Среди просодий протоптанных кем-то строф
зелень зияет: папоротники, плющи.

В слепом треске сосен, во влаге игл
жёсткого меха живого, ковра из мха,
разрешено забывать говорить как, ибо
дерева древнее речи и ремесла.

Ветки ли хочешь своей пробудить строкой,
чтоб звери вышли, как дети, к твоим рукам,
сбесившись, кусали в губы густой волной
крови — любви и гибели — напополам?

Авторы Содружества русскоязычных литераторов Германии: М. Шлейхер, Д. Бендицкий, Д. Драгилёв, М. Хохлов, У. Обычная

Михаил Шлейхер

Три рассказа для чтения со сцены

Менеджер по сбыту

Я менеджер по сбыту.

Я — менеджер по сбыту...

Нет, не так — Я! Менеджер — по сбыту!

И рукой так — вверх! И голову — выше, и подбородок — вперёд!

Чёрт...

Мне никак не удаётся убедить себя в том, что это звучит гордо. Ну или хотя бы красиво. Или, там, загадочно. Так, чтобы заходишь в комнату, где сидит много красивых свободных девушек, и кто-то тебя спрашивает: «Кем работаешь?» А ты такой отвечаешь: «Я! Менеджер — по сбыту!» И глаза так немного прищуриваешь, чтобы сразу было ясно, что не какой-нибудь там мен по кассам или, скажем, мен складских помещений. По сбыту, ёбтыть!

Но самое дурацкое в другом. Меня давно уже не приглашают в комнаты, где сидит много красивых свободных девушек. Именно потому, что знают: я — менеджер по сбыту. Потому что, как только я вижу заинтересованные глаза, я тут же сладко улыбаюсь и спрашиваю: «А не надо ли?» — «Не надо!». «А не

Михаил Шлейхер (1975, Свердловск-44). Прозаик. Руководитель студии дизайна. Публикации на русском и немецком языках в изданиях «Неприкосновенный запас», «Крушение барьера», «Феникс», «Литературный европеец», «Вечерний Нью-Йорк», *Kulturwelten*, «40 лет без цензуры», *Schloss Moabit*, «УрУ», «ТЕКСТ» в сборниках *Geschichten + Gerichte*, Мюнхен, *Schreib*, Берлин, *Literaturtelefon*, Киль и других. Заместитель председателя СЛОГа (Содружества русскоязычных литераторов Германии). В Германии с 1996 года. Живёт в Берлине.

хотите ли попробовать?» — «Не, не хотим, спасибо!». И вот уже красивые свободные девушки отдельно, а я отдельно. Да что девушки! Мужчины, старики, даже эти чёртовы дети — кто хочет общаться с тем, кто только и думает, как бы впарить свои услуги?

Поэтому всё чаще я сижу в нашем бункере на окраине Берлина и перебираю в уме фразы, которыми можно заинтересовать целевую аудиторию.

«Не желаете ли омолодиться?» — «Нет!»

«Хотите зарабатывать на дому до десяти тысяч евро в день?» — «Нет!»

«Выйти замуж за миллиардера?» — «Спасибо, я сама!»

Иногда со скуки я спускаюсь на лифте на самый нижний этаж и иду к шефу.

«Дьявол! — восклицаю я в отчаянии. — Какого чёрта? Все наши потенциальные клиенты смотрят видосы топ-блогеров и сами знают ответы на все вопросы. Что мы им можем предложить? А главное, они же ни во что не верят! Они феминистки и веганы — как с ними вообще разговаривать?»

Шеф смотрит на меня своими печальными до изжоги глазами и говорит:

«Слушай, я не знаю, это твоя работа. Купи базу мэйлов, сделай рассылку».

Назло ему я возвожу очи горе и цежу сквозь зубы: «О господи!»

Он чертыхается, я быстро выбегаю из кабинета и захлопываю за собой дверь, пока меня не опалило пламя его гнева. Сажусь в наш страшный чёрный лимузин и еду в город. Брожу там, как идиот, по мокрым улицам, маюсь от изжоги и проклиная судьбу.

Мне холодно и тоскливо, хочется простого человеческого тепла, чтобы рядом был кто-то, кто утешил бы и сказал: «Мой ангел, не расстраивайся, завтра ты обязательно найдешь и окучишь настоящего жирного клиента — какого-нибудь учёного или писателя, — а сейчас расслабься и поспи наконец».

За одну эту фразу я продал бы душу дьяволу, если бы уже не сделал это много лет назад. В тот день наш фирменный чёрный лимузин приехал за мной, и шофёр выдал мне пода-

рочный сертификат на бессрочное пользование всеми внутренними сервисами компании.

Вот с тех пор я и есть — менеджер по сбыту. Когда-то я был лучшим оптовиком в своей области. Клиенты шли целыми дворцами и ложами. А сейчас... Сейчас приходится довольствоваться редкими одиночными продажами.

И всё-таки — и вовеки веков, чёрт возьми! — я менеджер по сбыту.

Именно так. Я! Менеджер — по сбыту!

Никто не хочет замуж за миллиардера?

Стоит всего одну душу. Одну вапу маленькую веганскую душонку.

Зона комфорта

Ботинки стояли в духовке.

Я захлопнул и снова приоткрыл дверцу. Ещё раз поглядел внутрь.

— Почему в духовке? — спросил я вслух.

Ботинки не ответили.

Тогда я вытащил их и в вытянутой руке, как напкодивших котят, понёс в прихожую.

За непрозрачной стеклянной дверью, ведущей наружу, было темно. Время от времени с обратной стороны проплывали жёлтые огни, и тогда по мелким треугольничкам толстого стекла, из которых была составлена дверь, пробегала почти живая рябь — то слева направо, то справа налево. И снова темнота.

Я включил в прихожей свет и поставил ботинки перед дверью, носками к выходу. Затем вернулся на кухню, немного постоял перед обеденным столом, постукивая по столешнице костяшками пальцев и пытаясь припомнить свои планы на сегодняшний день, подошёл к плите и зажёл маленькую конфорку. Подержал регулятор, пока голубой цветок не наполнился силой, после чего достал из шкафчика узорчатую турку, налил в неё воды и поставил на огонь. В электрической кофемолке перемолол пригоршню коричневых звёзд, засыпал божественный порошок в воду, добавил кусочек имбиря и стал ждать.

В голове медленно возились какие-то мысли, но ничего необычного среди них не было. Привычная каша из вопросов, которые, очевидно, занимали меня последние годы. Что я за создание такое? Для чего топчу землю и копчу небо? Чего добился в жизни? Почему сижу один в этом крошечном домике на краю вселенной, в котором из окон лишь дверь, да и та непрозрачна? Смогу ли я — например, сегодня — сделать что-то, что изменит ход событий? Или лучше запланировать это на завтра? Надеть ботинки и выйти за дверь? Пойти куда-нибудь, поехать, полететь, поведать детей...

Турка заурчала, я снял её с огня и помешал кофе ложечкой. Затем добавил сахара и ещё раз помешал. Отступал простенький ритм на медном краешке и бросил ложку в раковину, подождал полминуты, налил кофе в чашку и сел за обеденный стол. Сделал первый маленький глоток, закурил.

Если честно, я уже не помнил, когда у меня в голове были другие мысли. Я помнил, что они были — кажется, что-то большое и важное, тянувшее меня наружу и вверх, — но давно, ещё когда я за день мог прочитывать увесистый томик Сартра или, к примеру, создать небо и землю. Но с тех пор многое изменилось. Сейчас просто очень хотелось спать. Всегда. Особенно после кофе. Я докурил, допил последний глоток с осадком и отставил чашку.

«Нужно сделать что-то прямо сегодня, — подумал я, чувствуя усталость, — что-нибудь такое, что завтра сразу напомнит мне о том, что я в конце концов должен принять решение. Сделай что-нибудь странное, обязательно что-нибудь странное».

Я поднялся, решительно прошёл в прихожую, взял ботинки и вернулся на кухню. Открыл духовку газовой плиты, поставил ботинки внутрь и, немного помедлив, захлопнул дверцу.

Детство Никиты

Мальчики умирают раньше девочек. Это я понял ещё в первом классе. Первым из нашего двора умер Володька. Он вышел из автобуса и попал под машину. Отлетел в кусты и не успел узнать, что спустя восемь лет развалился Советский Союз

и что по Америке ездят специальные школьные автобусы с выдвижными оранжевыми плагбаумами.

А в Советском Союзе на балконах висели бельевые верёвки. Илья жил на девятом этаже. Верёвки на его балконе были на уровне головы взрослого, и на них было весело качаться. В один красивый, как будто стеклянный, зимний день Илья улетел с балкона. Мы бегали смотреть на окровавленную яму в снегу в том месте, куда он упал. Во дворе говорили, что он успел крикнуть: «Мама!» перед тем, как приземлиться. По ночам мне снилось, будто он всё ещё лежит в этой яме и кричит: «Мама! Мама!». Так и лежит Илюха в яме до сих пор и не знает, что потом были путч, ГКЧП, гопники, инфляция, Ельцин, кризисы, санкции. Он умер счастливым советским ребёнком, ведь в Советском Союзе мы были бесконечно счастливы.

Мой город детства был закрытым городом без названия и со всех сторон был обмотан колючей проволокой. В лесу, который начинался прямо за нашим домом, пряталось стрельбище, на котором проводили учения защитники нашего города. А ещё дальше — уже за «колючкой» — посреди леса из земли, как гигантские грибы, росли скалы. Мы пролезали в дыры в «колючке» и сбегали в лес есть чернику и ползать в скалах. Как-то летом под ними нашли мёртвого Андрюшку. «Лазил где не надо, вот и разбился», — говорили мамы. Но они не могли нам объяснить, почему он был при этом голый. Во дворе говорили, что это сделал сбегавший из тюрьмы маньяк. Но маньяков в Советском Союзе не было. Как не было кризисов и инфляции. А ещё мобильных телефонов, интернета, айпэдов, «Теслы» и топ-блогеров...

Мёртвые говорят голосами живых. Им страшно оставаться в их ямах, скалах и в сарае, где хранятся лопаты. Вот они и пытаются прорваться в реальность через сны живых или даже чужими голосами со сцены, когда кому-то из живых удаётся забраться на сцену. О мертвецах мы знали из рассказов про чёрный гроб на колёсиках и красную руку. Но старались не говорить о них всерьёз. Потому что, если всерьёз, голос мог подать и Андрюшка. Или Илюха.

Зато мы собирали пули и гильзы на стрельбище. Пули нужно было тёмными вечерами выкапывать в дальнем конце поля, где они днём врезались в насыпь за мишенями. Случайно мы несколько раз попадали там под настоящий обстрел. Ночные учения заставляли нас врасплох. Но это было не так страшно, как собирать гильзы. Потому что гильзы были на другом конце стрельбища — там, где были защитники нашего города. Они могли поймать и сделать ужасное — до определённого момента никто во дворе не догадывался, что именно. А может, об этом просто не говорили. Но как-то вечером двое караульных поймали меня, Мишку и Таньку. Это было в шестом классе. Они закрыли нас в сарае с лопатами и сказали, что теперь будут нас наказывать. Они вытащили Таньку и увели. Мы с Мишкой сидели напротив друг друга и ревели, слушая, как они её наказывают. Она кричала где-то там, за стеной сарая. Потом солдаты вытащили и нас, но почему-то они уже стали добрыми и просто взяли и всех отпустили. Танька после этого месяц не ходила в школу. А потом больше никогда не ходила с нами на стрельбище.

Вот тогда я и понял, что мальчики умирают, а девочек жизнь наказывает по-другому. И ещё иногда мне снится, что я тоже умер. От страха остался лежать на полу в том сарае на стрельбище. А вот Мишка выжил. Он увидел, как в школу стало можно без формы, как появились компьютерные игры и фотоплоп, и беспилотные автомобили, и фотография чёрной дыры. И теперь стоит такой Мишка в будущем — на сцене перед такими же, как он, выжившими, и читает мой текст.

А Никитка — да, Никитка умер. 

Даниил Бендицкий

Ракета типа «Ре минор»

1.

Внутри всегда было тихо.

И вот тебе раз: вдруг задёргался. Висел головой вниз, руки и ноги сложил крестиком, весь скукожился. Наконец осмелел: едва оттолкнулся — сразу ударился, ещё поднажал — обратно отбросило, после третьей попытки уже совсем обессиленный прилип лицом к стенке, затих.

В тёмном мешке было тесно, вокруг громко булькало. Сонная Мать, говорящая исключительно поговорками, тихо прошипела сквозь зубы:

— Поспишь тут — поменьше погресишь, — и перевернулась на бок.

Ну же, чего ждать: отдышался и снова бросился в бой, да так, чтобы всё ходуном заходило — удар, ещё удар — сегодня, так сегодня, Мать вообще ничему не удивляется. Так не будил даже трофейный будильник, доставшийся ей от соседа-фронтовика.

Когда он звенел, на тонком ответвлении корпуса вращался рифлёный металлический шарик, отключать звонкую барабанную дробь она ещё не умела — просто хватала будильник с комода, накрывала подушкой и дальше спала. Выпуклая штучковина была приятной на ощупь, в первые дни всё никак наглядеться не могла: золотистые цифры шли под наклоном, тонкие стрелки торчали как копыя, люнет надорвал циферблат в двух местах.

Даниил Бендицкий (1985, Горький). Прозаик. Окончил архитектурный факультет в Берлинском университете искусств. Публиковался в поэтическом альманахе «Среда поэта», в журналах «День и Ночь», «Волга», в «Еврейской газете» (Берлин), «Междугородней еврейской газете» (Москва), а также в сетевых изданиях «Сетевая словесность» и «Топос». Подборка стихотворений вышла в антологии «Четвёртое измерение» (Санкт-Петербург). Лауреат премии «Мой дебют» в номинации «Молодой русский мир» (2008). Входил в длинный список премии «Мой Дебют» в номинации «Малая проза» (2013). В Германии с 2000 года. Живёт в Берлине.

Одинокий сосед, когда отходил неделю назад, сам не помнил — то ли в Германии в ходиках чего завели, то ли он сам колёсики накрутил:

— На, — говорил, — возьми, будет пацанёнку игрушка.

Легенда о немце, который ещё в войну вставал по тому же звонку, Мать завораживала и пугала — нет, спасибо, конечно, за будильник, но откуда умирающему пабру знать, сын у неё будет или дочь?

Мать не выносила предсказания, но всегда верила в чудо.

День как день, да только год не тот — спросонья в голове всегда одна ересь. Мать привстала, обхватив свой круглый живот, закачалась. Вроде она тут: вот кровать, шкаф, круглый стол, бельё на верёвках, фотография Папы во френче, или нет — вдруг она в огромном фойе, перед картой часовых поясов, Господи, как его там, в этом, в Доме связи — всё стоит и смотрит в упор, как указательный палец ползёт от Свердловска и останавливается между Астраханью и Сталинградом.

Между ними — разница час. Сейчас полвосьмого. Значит, он тоже проснулся.

Всё смешалось — может тот немец, хозяин часов, до сих встаёт в положенный час, да и расстояние до мужа вмиг улетучилось? — всё это происходит здесь и сейчас, только протяни руку.

Неваляшкой она доковыляла к окну, прикоснулась к стеклу, от колючего холода тут же отдёргнулась. Через растаявший отпечаток проступили деревья, сугробы, фургон, стая птиц.

У неё ледяная рука. Такое февральское утро.

2.

Вокруг — полоса. Тёмно-серая, твёрдая. На обочине снег. Дальше кусты.

Сначала узкая дорога изгибается, пролезая между складами и казармами, чтобы потом, перед полигоном, растянуться длинной финишной прямой.

Солдаты ползли на карачках, убрали мелкие камни. Отец полз впереди и, если смотреть с крыльца штаба, могло показаться, что из-за своей огромной нахлобученной шапки он был на голову выше всех.

Дорога была спита из заплат, камни застряли между швами. Солдатам приказали всё вылизать, норма — чёрт с вами, так и быть — полведра. До этого чистили несколько дней, видать не успели, даже музвзвод подогнали.

Когда пыльцы немели, Отец сжимал кулаки, пытался зачерпнуть камешки концами рукавиц, всё сыпалось вниз, руки наконец раскрывались. Он касался большого пальца мизинцем, затем безымянным, средним, указательным и шёл в обратном порядке. Дальше давил с силой, гнул пальцы, будто держал невидимый шар, потом медленно опускал фигуру на землю и упирался ногтями.

Что внутри рукавиц, что в тёмном материнском мешке пространство изучалось так: басы извлекались щипком, легато скольжением, перле выстрелом.

У каждого пальца — своя душа.

Камни с грохотом падали в ведро. Отец решил, что он норму выполнил, резко встал.

Ведро качнулось, дужка закричала, и вдруг в голове что-то сложилось — ми ре до ре си до — мгновенная мысль о том, что от трения оцинкованной стали получается ритм, была настолько пошлаой, что стало стыдно. От удивления прыснул.

Мелодия нарастала, тащила — от грубой до гротескной, с издёвкой. Этот танец был неуклюжим: заводные игрушки плясали по парам, переходили на марш, затем тихо пели — соло скрипки, повторение темы у флейты. Над кем Отец надсмехался, кого пародировал? Сам не знал. Веселье было наигранным, нечеловечным.

Но как всегда и случалось — полёт прекратился. Всё испарилось. Отец пытался отчаянно вспомнить, с чего началось это скерцо. Кажется с контрабасов и виолончелей.

Так бывало не раз, о невозможности сесть, написать, он сообщал ей в письме. Тема всегда неожиданно вспыхивала, потом внезапно затухала — то сам чего-то забыл, то куда-то позвали.

Она отвечала: передвигаюсь с трудом, всё лежу, ничего не чувствую — жил ли он там?

Он ей про Фому, а она ему про Ерёму.

Вся надежда на завтрак: конечно шпирпель. Солдаты будут скрести миски, месить кашу. Быть может от этого шума снова начнётся полёт, и Отец допишет финал. И ещё волнует вот что: почему перловка всегда получается такими большими комками?

3.

Во рту ни крохи, в голове помутнение — чего по сусекам скрести, теперь только в путь.

Она завязала шнурки, вся закуталась. В подъезде было тускло и сыро. Тёмно-зелёная настенная полоса тянулась спиралью от последнего этажа до входной двери. Мать, держась за перила, спускалась по лестнице. На улице стоял жгучий мороз.

Да, он был прав, когда всё в письмах нахвалил: мол, захвораешь — сибирский воздух вылечит. Сопливая Мать замерла по середине двора и дышала всей грудью:

— Нужда и голод гонят на холод, — покорно говорила она.

Она посмотрела на дом, отыскала своё окно и твёрдо решила, будто он знает (даже за две тыщонки кэмэ), что её отпечаток на стекле для него.

Впрочем, знает, не знает — чего рассуждать, пусть хоть представит себе, что именно сегодня, ничего не боясь, она одна пройдёт через весь город. Сколько себя помнила, всегда от страха тряслась — перед тысячьо друг на друга похожих лиц и фасадов.

Мать перешла перекрёсток, оттенки домов слились в одну жижу. Она повернула и тут же очутилась на площади — да чтоб тебя, как её там, вечно эти имена из головы вылетали.

При этих мыслях живот скрутило. Мать задрожала.

Эка невидаль: вертикальное положение. Быстро сообразил, что всё это уже было: лежал со всех сторон сжатый, пытался вырваться, давил, как мог, но выбивался из сил. В перерывах между ударами куда-то проваливался — вот оно, захватывающее падение! — успевал схватиться за шнур, потом долго висел.

Вокруг — чернота. Под куполом было страшно. Показалось, что стал отчётливее слышать звуки: дыхание Матери. От испуга дёрнул ногой, столб поднялся вверх, вывернул всё изнанку.

Мать, еле держась на ногах, сблевала в сугроб.

Значит спешить, не терять ни минуты. Очухавшись, она решила, что ей нужно направо: этот путь был ей знаком.

Мать вынырнула из-за угла, как и тем летом (хотя нет, кажется это было ещё в мае) — город был тогда переполнен воздухом, сильно пекло.

На первое свидание она летела как проклятая — всё крутилась перед зеркалом в крепдешиновом голубом платье, да поздно опомнилась — даже волосы не помыла, успела только глаза подвести.

«Тоже мне, — на бегу удивлялась, — придумал место встречи: здесь, на Ленина, попробуй друг друга найди». Люди появлялись и вмиг исчезали, машины проезжали с чудовищным скрипом, а он задумчиво шёл впереди и поочерёдно ронял содержимое кармана: носовой платок, скомканную обёртку «Басни Крылова», двадцать копеек и ключ. Немедленно остановился, нащупал дырку в кармане, чертыхнулся. Она окликнула сзади: «Молодой человек, это не Вы потеряли?» — всё приданное уместилось в её хрупком кулачке.

Потом они спустились к лодочной станции и увидели серые тучи. Она сразу же пожалела, что забыла взять зонт. Он признался, что у него зонта никогда не было, беспардонно схватил её за локоть и повёл за собой.

Только плюхнулись в лодку, он сразу усердно заработал руками — их крутило, сносило в бок. Однако вскоре прихоронился: загребал не глубоко, а скользил по поверхности, по середине реки внезапно спросил:

— Кстати, а что это у тебя на ноге за красное пятно?

— Да всё никак не пройдёт за три года. Ездил на похороны в Москву. Был март, жуткий холод. Стояла в очереди, где-то толкнули, сильно к земле придавили. Как оттащили — не помню. Знай, его смерть — это горе, — и она резко закрыла ладонями лицо.

Река была ровной, в её гладком отражении — тёмное небо, деревья.

— Ну, умер и умер, — буркнул он, — что с того?

Они проплыли вперёд метров двести, чтобы развернуться и навернуть новый круг, как вдруг полил сильный дождь.

Вдалеке разбегались людишки, разъезжались машины. А они как вкопанные встали. Поёжились, да и привыкли — всё не двигались с места. Вода текла по их лицам, щекотала шен, мочила одежду насквозь. Они молчали, слушали ливень.

Бывает же так, когда вообще на всё наплевать.

4.

Музыка всегда складывалась по крупницам. В голове возникало слово, из слова появлялся образ, после образа шёл Отец.

Он точно помнил, что тем вечером было душно. Они возвращались из оперы после «Кармен». Мать напевала «Хабанеру» (имела способность запоминать текст с первого раза). Его идея была совершенно спонтанной — найти к этой музыке рифму. Дерзкий замысел состоял в парафразе. Как наваждение маячило только одно слово. Мелодия Бизе вошла в образ естественно, органично. Схожие звуки сложились в ячейки, которые при развитии выстроили ре-минорную тему.

Эта тема была о любви.

Отца несло со страшной силой. Задумавшись, он оторвался вперёд. Мать еле за ним успевала: откуда ей знать, что в его голове рождалась симфония? Поравнявшись у скверика, они учащённо дышали будто пробежали вдвоём марафон.

Через неделю была свадьба. Гостей набежало — яблоку негде упасть. Пили кахетинское, съели таз винегрета. Она сидела с ним на одном стуле и смотрела, как на обручальном кольце отражались их лица.

Когда ночью все разошлись, он вдруг признался, что «самое лучшее, что можно вообразить, — это полное упразднение брака, то есть всяких оков, обязательств. Любовь свободна, — бормотал он, — она не может продолжаться долго». К чему-то приплёл церковь: «Обет, данный перед алтарём, — самая страшная сторона религии».

Она ничего не поняла, промолчала. Собрала тарелки, подмела крошки. Комнату надвое поделила светлая полоса, пробивавшаяся через щель от незатянутых занавесок.

Потом был осенний призыв. Молодого композитора отправили дирижировать военным оркестром. Подумать только,

бывает же так: даже поругаться не успели, потому как толком друг с другом и не поговорили.

Теперь она осталась одна. В городе, в котором не помнила ни примет, ни зацепок. Что тогда, девчонкой, что сейчас, с животом: Мать вечно терялась, петляла по улицам.

Налево, направо — да, вроде сюда: она повернула, потом тут же вернулась. Всё вокруг незнакомо, забыла, куда шла. Ветер хлестал по лицу, она замедлила шаг. Ноги подкосились, Мать попыталась ухватиться, не удержалась и внезапно упала.

Приземлилась мягко, в метровый сугроб. Лежала долго, не двигаясь. Сверху давило белое небо, она выпустила в него пар изо рта. Хотела, чтобы всё закончилось здесь — «Один раз Мать родит, один раз и умрёт» — и от бессилия зарыдала.

Спору нет, так твёрдо решил, — этот привал даст ей сил. Пусть она отлежится и снова пойдёт потихоньку. Только не дёргаться, оставить всё, как есть. Попытался успокоиться, свернулся в клубок. В зажатом пространстве не развернёшься.

Куда ни смотрел, никак не мог побороть страх. Взаперти всё пугало. Из всех сил зажмурился, представил себе, что было снаружи: Мать всё лежала плашмя, пока кто-то не гаркнул: «Ну, что валяешься? Сейчас всё застудишь», и вмиг подскочила.

«Чёрт бы вас всех побрал, даже в сугробе умереть не дадут. Из могилы достанут и заставят идти дальше», — Мать насмеялась сама над собой, но точно знала: когда смерть была рядом, её непременно что-то спасало.

Так было всегда, всё случалось само собой. Мать могла оказаться у пропасти и потом, конечно, сразу же выбиралась. Казалось, будто ради неё кто-то сверху повторял этот трюк. Вот и тут, как всегда, свалилось спасение. На углу дома висел выпуклый указатель улицы — да, вспомнила! — как же она не заметила, что до больницы всего-то пройти тот самый скверик?

Мать раскачалась, кое-как поползла. Через минуту оказалась у кирпичной махины.

Пусть там с ней делают, что хотят. Разрежут на части, всё нутро вытащат. На неё сыпал снег, к входной двери тянулась ледяная полоса.

Осталось сделать последнее усилие.

5.

Испытаний ждали с утра. Всех, кроме боевого расчёта, с площадки убрали. Готовились к пуску.

Небо было чистейшим. Поле укрывал сплошной белый пласт. Дым из выхлопных труб всё превращал в жижу.

Портал установщика взмыл вверх. К стартовому столу присоединилась транспортная тележка с ракетой. На неё установили головную часть, подняли в вертикальное положение, заправили горючим.

Ракета с ядерным зарядом встала на стартовый стол, чтобы через десять минут упасть в Каракумах.

Солдат согнали в казармы, приказали не выходить, пока не услышат хлопка. Все столпились у окон, толкались, гудели. Правда толку-то, на таком расстоянии ничего не разобрать: где там ракетный состав, укрытия, трейлеры, машины?

Отец зажмурился, стал вспоминать. Пытался сложить свои образы в одно целое. Он шевелил губами, сбивался, пробоовал ещё раз. Его язык — это обрывки перекорёженных фраз. Мечтал хотя бы за одну ухватиться, но мгновенно зарылся.

Если его ре-минорная симфония — гимн любви, то пусть расскажет о своём страхе: почему он должен размышлять о стране или, скажем, о перевоспитании несознательных масс? Кому интересны любовные переживания, когда народ строит новый мир, находясь в окружении?

Конечно, всё будет так: Отца обвинят в неумении выражать простые и сильные чувства. Его музыка, умышленно сделанная шиворот-навыворот, свалилась в сумбурный поток звуков. Она тонула, вырывалась, снова исчезала в грохоте, скрежете, визге, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. Отец знал: эта игра в заумные вещи могла кончиться плохо.

Он представил себе, как его прогоняли сквозь строй: был то ли праздник, то ли траур — лихорадочное ликование. Отец шёл на казнь. В ушах стояли оглушительные удары литавр, вколачивание труб и валторн. Земля задрожала, воздух сжался, раздался хлопок.

Хватит, пора начинать. Решил — сейчас или никогда.

Сколько себя помнил, всегда был сдавленным, скрюченным, вокруг ни одного лишнего сантиметра, а тут стал выкарабкиваться. Неожиданно легко освободил руки, надавил на упругую стенку — сумка, в которой так долго плавал, надорвалась, и хлынул поток.

Вода была мутной, передвигался на ощупь. Казалось, нырнул глубоко, но тут же во что-то упёрся. Тело сплющило, голову стянуло кольцом.

Вскоре услышал крик Матери — она учащённо дышала, драла простынь. Вжимала всё глубже, перевалилась на бок. От такого напора прижал грудь к подбородку и начал вращаться. Сразу полетел вниз, в никуда. Всё кружилось, вертелось. Тело толкало наружу. Наконец произошла вспышка, потом выброс на берег. Первое, что сделал на воле — громко чихнул.

Да, так и думал: после мокрого выхода, воздух в палате был спёртым. Не успел оклематься, грудь сдавили чужие женские руки. От повитухи несло спиртом. И вот впервые взлетел.

Здесь, навесу, вдруг стало ясно: в Каракумской пустыне прогремел ядерный взрыв, Отец смотрел в пустоту, Мать бормотала.

Любовь будет свободной. Дайте время привыкнуть. Я пока ещё слеп, глух и нем. 

Дмитрий Драгилёв

* * *

Что скажешь, ребё Элимелех?
Мы все расстанемся *allmählich*.
И злое время перемелет
И Мелехова и среду.
Когда-нибудь друтой Емеля,
С утра пораньше хлопнув эля,
В *e-mail*'ах, первого апреля
Найдёт знакомую звезду.

На визит друга из Латвии

Обаяние выровнялось.
Магма выпала и вырвала обоняние
у бомжа на Вестэнде.
Знаешь тренд? Хороши и Смётана, и Атиква,
зайчик отскочивший от мотоцикла,
зеркало, в котором застряло небо.
Неограниченные права предоставлены няням,
умеющим подавлять рудименты гнева,
переходящим в солнечный *farce vivendi*
прямо из *ars antiqua*.

Дмитрий Драгилёв (1971, Рига). Поэт, музыкант, журналист, переводчик. Автор пяти поэтических книг и двух книг по истории музыки. Один из инициаторов музыкальных проектов *The Swinging PartYsans* и *Kapelle Strock*, ряда литературных чтений и джазового фестиваля им. Э. Рознера в рамках ежегодных германо-российских дней. Председатель Содружества русскоязычных литераторов Германии (с 2015 года). Лауреат премии московского журнала «Дети Ра» (2006), призёр берлинского открытого русского слэма (2006), лонг-лист премий «Московский счёт» (2010) и «Новый звук» (2014). В Германии с 1994 года. Живёт в Берлине.

Косвенны кос невода,
всклянь почти общение от кочки до кочки.
Очень почтительные хуже редьки.
Куда ни глянь, во всех городах
очереди на почте,
понты, нательные батарейки,

монетки, севшие в лужу решкой, определи
фасеточным зрением,
с максимальной точностью до единого раstra.
Вычти погрешность и найди то же самое слева —
в прошедшем времени,
в какой-нибудь Риге, например, на улице Краста

вновь из раstrуба вылетают синкопы варварства,
обработки мелодии *Cícha wóda*.
(Говорят, композитор был мужем приличным
и очень добрым).
Эта музыка, производства январского
или апрелевского завода,
завелась для того, чтобы верить себе или — хуже —
себе подобным.

(Этикет запрещает коту говорить о своей особе.
Фосфорический Роланд шагает по пляжу в латах.
Это он потом — по роли — на башне ратуши
приспособит
этикетку пластинки в качестве циферблата).

В остальном всё — как прежде.
Сложности российского сыра и сыска,
в новостях: предприниматель, съевший сосиску...
(вместо полной готовности встретить партийный съезд),
отсутствие марсельезы на берегах Ридзене, нарциссов из
Сан-Франциско,
Цискаридзе, *Cisco Systems*, *Cis* как нота до диэз.

* * *

Проявим ботанический интерес
к девчонке, поставленной вверх ногами,
какой-нибудь Тане на перекрестке Кудама и канцлера Конрада.
Из сути беседы медведей Гамми вынут необходимый рельс,
условными оригами украшена комната.

Залив Ботнический подвержен пунктирным ритмам и
лабиринтам,
терра фанерно-ягельная закавычена,
котовасии прячутся в пороховые мешки.
Бумажной мякотью привычно заело принтер,
фоткой Фреда Астера, заснувшего у щеки.

Гитары повёрнуты деками, грифы похожи на частокол.
Кирха стоит — где была, колокольня на месте, и как-то влом мне
конспектировать греческий зал и мифический протокол
Готского съезда эсдеков, который никто не помнит.

Кушная консоме, предлагаю странам напарить новый густой язык,
ведь его поймет любой инвалид.
Пока немец солидно, как пиво, тянет свой *Lied*, болид или байк.
Будем равняться на гугамэйл, который при регистрации
сообщает мне:

Eyes calsolid.
А ещё *Cros-ties etynaik.*

Празднуем капчу!

Поскребись.
Употребь аквавигт.
Алфавит, как персик, мягкий и гуттаперчевый.
Перстень — преодоление, а может быть, продолжение коготка.
За день все зпт разошлись пробуем тчк.

Михаил Хохлов

Зрелость

Прошлогоднюю жизнь собрав по копейке в кулак,
невзирая на то, что ещё один год на исходе,
всё забыть — притвориться, что сам себе больше не враг —
и заботиться впредь лишь о винах, сырах и погоде...

Возомнив себя пахарем, сеять раздора зерно -
и с ухмылкой потом пожинать ядовитые всходы:
мол, разжиться не хлебом — так, зрелищем — и, заодно,
показать превосходство на фоне их жалкой породы...

Раз уж сам себе больше не враг, виртуальных врагов
завести — и себе обеспечить тем самым
оппонентов под стать, а плоды их великих умов
коль свезёт, превратятся в заветные «хлеба» сто граммов...

Ненавидеть чуть больше, чем можно бы было любить,
слушать несколько меньше, чем можно бы было услышать...
Отражать — не клюкой, так подушкой — удары судьбы...
И считать, что и бранное слово ниспослано свыше;

а в свидетель тому, наостриться грубить свысока,
не вставая с постели — и, даже, высоким особам —
дескать, смерть обойдёт стороной, коли сладить всё так,
чтобы, видя в гробу, поминали до своего гроба...

Михаил Хохлов (1981, Ленинград). Инженер-филолог, по образованию филолог-преподаватель. Публикации: «Писатели русского мира: XXI век» (том 11), альманах «Ганновская Весна 2019», «Антология Русской Поэзии 2018» (том 4), альманах «Русь моя 2018», альманах «Наследие 2018», альманах «Поэт Года 2018». В Германии с 1993 года. Живёт в Берлине.

В общем, век свой влачить, без особых на это причин...
Расставаться, смеясь — без особых о том сожалений...
Переплавить на весла от дома и сердца ключи,
но уже не грести — дрейфовать
параллельно
течению...

* * *

Я хочу умереть, не дожив до вчерашнего дня —
не коснувшись ни разу щекой прошлогоднего снега,
не пытавшись по юности корень извлечь из нуля,
возведением в степень не тешив ничтожное эго...

Я хочу умереть, не дождавшись великих побед —
растворившись в густой пелене недосказанных истин,
не поняв, что, при жизни, вопросу не нужен ответ,
не успев осознать, что кому-то не нужен... при жизни...

Я хочу умереть до того, как проснётся весна
и дождями ужалит ни в чём не повинную зиму...
я хочу умереть, не дожив до вчерашнего дня —
ибо жизнь, как порой выясняется, необратима...

Другу

Перенесем все встречи на пролёт.
Свободу разменяем на этаж.
Пускай, нас наверху никто не ждёт...
Но мы прорвёмся — финиш будет наш!

Оставим след в парадной: на стене
напишем кровью наши имена,
чтоб думали, что мы пришли извне,
хотя, по сути, вылезли из 'вна...

Найдём на свалке старый патефон,
Вертинского посадим на иглу;
ступенькой громко скрипнув в унисон,
пересечём победную черту —

и растворимся в копотти, пыли,
табачном смраде крохотных квартир...
Но, даже если выше бы смогли
вскарабкаться, ни тот, ни этот мир

по нам скорбеть не стал бы... И, заметь, —
мирам забот хватает и без нас...
А стены пачкать, собственно, — то ведь
любой придурок с улицы горазд...

Что, впрочем, до миров и рубежей:
переведя таланты на поток,
за нами поколения ханжей
тревожно будут пялиться в глазок...

Ульяна Обычная

* * *

... И лишь два дня до летнего исхода.
Спешу. Хочу пристроить я тепло,
Да так, чтоб в снежном, сладком декаброде
Как раз из серединки потекло...

И облизать чтоб можно было с краю,
Случайно капнув — ты же не святой!
Свою погоду я не выбираю,
Но, ведь, и джем готовлю августой:

Ульяна Обычная (1987, Москва). Журналист. Окончила факультет журналистики МГУ и ESADE School (Испания). Поэтические сборники «Руины Рая» (2006) и «Оперение» (2011). Публикация в альманахе «Третий этаж» (2019). Член Правления Содружества Русскоязычных Литераторов Германии. В Германии с 2016 года. Живёт в Берлине.

Излишки нежности снимаются с общенья
Из них варю лукумное стекло,
А ты потом — в вопросу о прощеньи —
В моём январеве почувствуешь тепло...

* * *

Ты откуда, иностранка?
Из неназванных времён?
Ты умыла спозаранку
На душе друтой огранки
Сокращенья и останки
Дорогих тебе имён,
Положила в сумку папки,
Заливая кофе шанс
На повтор ночных припадков,
Ты берешь себя в охапку
И, обутая в «старт-апки»,
Ты садишься...в дилижанс?..
А потом ты ищешь деньги,
«Тапки» вязнут. #этодно.
Запекая ил в меренги,
Подаёшь его на сленге
Финансистов и «Айвенго»
Для гурманов...из ландо...
И... усталая безмерно,
Возвращаешься домой,
Пробираясь через терний,
Переполненный, вечерний...
Трафик-джем на ужин, верно?!
Верно... Скверно... Боже мой.
И «Мелодией дождя» ты
Передразнивая душ,
Испарилась вновь куда-то
В исторические даты,
Где морали бородатой
Не нужна ещё и тушь...

Елена Королева

Гусеницы в голове

Я осталась одна, совершенно одна! Муж покинул меня.

Ещё вчера мы вместе покупали продукты, а сегодня с утра он собрал вещи, пока я спала, и ушёл. Квартира тут же стала велика и болталась на мне как прочно вошедший в моду ненавистный оверсайз. А я болталась в ней, периодически заглядывая в холодильник в поисках утешения. Он, к сожалению, оставался прежних миниатюрных размеров. Я никогда не жила одна, и сейчас от отчаяния пульсировала каждая клетка моего организма. «Алесь, как мне жить без Мужа?» — в порыве чувств спросила я бездушного виртуального ассистента, приобретённого когда-то Мужем вопреки моему желанию. По кругу колонки пробежали разноцветными огоньки, свидетельство того, что меня услышали, но ответа не последовало. Меня и раньше настораживало, что в нашем доме появилась ещё одна «женщина», ограниченность которой я воспринимала исключительно, как нежелание контактировать именно со мной, в то время как в разговоре с Мужем она всегда пыталась быть полезной. Но сейчас-то могла бы проявить хоть чуточку своей виртуальной женской солидарности! «Алесь, как мне жить дальше», — раздражённо повторила я. На этот раз она стала бодро воспроизводить песню «Я не знаю, как мне дальше жить» группы «Воровайки». Сволочь!

Напряжение нарастало. Что делать? Для начала выпить и успокоиться. Или нет, сначала лучше успокоиться, а потом с относительно лёгким сердцем выпить. Решение насущных проблем хорошо отвлекает от печальных мыслей. Так, деньги! Небольшой запас налички, накопленный в результате случайных заработков за последние годы (я заглянула в полость про-

Елена Королёва (1986, Нижегородская обл.). Биолог, кандидат биологических наук. Автор ряда научных статей в области биохимии. Принимала участие в записи аудиокниг в рамках проекта «Чтец». Публиковалась в журнале «Берлин.Берега». В Германии с 2014 года. Живёт в Берлине.

Редактор рассказа: **Григорий Аросев**.

игрывателя винила, куда предусмотрительно запрятала купюры на случай ограбления квартиры), — есть! Пересчитала — на первое время хватит. Теперь аренда квартиры. Муж, помнится, говорил, что заплатил за квартал вперёд, так что в ближайшие три месяца можно не беспокоиться. Как пусто внутри, тяжело вздохнула я. Не представляю, как я смогу преодолеть это испытание. А если и не смогу вовсе? Тут почему-то сразу возникла в голове бутылка вина. Сейчас мне сможет помочь только лучшее. Я отвлеклась от своего горя и предалась размышлениям. Бордо? Нет, не для такого случая. Бургундия? Да, пожалуй, она всегда уместна. Красное? Нет, не в такую жару. Однозначно белое. Что-нибудь из региона Шабли? Нет, слишком легкомысленно. Надо брать южнее. Определюсь на месте. И лучше не одну, а две. Самообман до добра ещё никого не доводил. И социум, мне просто необходим социум! Как человек, который по жизни всегда представлял собой откровенного анти-мизантропа (или как это правильно называется? В общем я люблю людей) я уже ощущала на себе тлетворное действие одиночества. Я присмотрелась к отражению в зеркале. Да, определённо: лицо потухло, кожа на лбу начала шелушиться, волосы утратили блеск. Я вызвонила персональную службу спасения в лице пары надёжных друзей, которые смогли бы внимать моим рассказам о коварной судьбе, сокрушённо покачивая головами, и иступлённо отдалась их утешениям. Утешения затянулись, и домой я вернулась только спустя пару «беспробудных» дней. Квартира великодушно приняла меня в свои объятия, и с тех пор надолго не выпускала. Дома всё-таки лучше. А на душе, как и прежде, погано. Погано, да ещё и с хмельным душком.

Вопрос «Как жить дальше?» висел повсюду как сохнувшее на паутине верёвок бельё в лабиринтах коммуналок. Я бесцельно перемещалась по квартире, уклоняясь от него, отмахиваясь руками, открывала настежь окна, надеясь, что порывы горячего воздуха, пронизанного спелыми летними запахами, выдворят его за пределы дома. Однако получалось наоборот — за пределами дома оказывалась я. Один жадный вдох — и я в бабушкином огороде: жмётся к стене дома терновый куст, слева толпятся вишни, перешёптываются на ветру зардевшиеся яблони, подставляют

солнцу бледные бока распластанные на земле патиссоны. Запах сушёных яблок и сена, монотонное жужжание пчёл, дымок от затопленной бани... Мне здесь хорошо и спокойно. Как в детстве. Но всегда приходится возвращаться. Дома я оказывалась спустя несколько часов, и первое, что я видела — всё тот же ненавистный вопрос «Как жить дальше?». И так изо дня в день.

Ночами я долго не могла заснуть, ворочалась, подо мной тихо постанывала кровать. Спать одной после пятнадцати лет замужества непросто. Я всегда покушалась на половину Мужа, сейчас препятствий нет, но я почему-то, завернувшись в одеяло, и оттого напоминая жирную гусеницу, лежала исключительно на своей. Тоскливо. Я прислушивалась к звукам, гуляющим по комнатам, и не знала, издаёт ли их сама квартира или... Нет, ну какие ещё призраки, духи и домовые! Все эти спиритические сеансы — это просто трюкачество, рассчитанное на легко поддающихся внушению людей. Я не такая. Конечно же, это просто квартира. Престарелая квартира, которая, вероятно, просто сетует на своё здоровье. Я дала ей имя и с тех пор уважительно величала Изольдой Генриховной. Мне она представлялась приятной дамой аристократических кровей, хорошо воспитанной, но своенравной. Днём она нетерпеливо стучала по стёклам, как недовольный посетитель бара по столику, которому никак не принесут выпивку (и я спешила к окну проверить, не пошёл ли дождь), иногда возмущённо хлопала окнами (ох и норов!), а ночами поскрипывала, расправляя затёкший паркет и по-старчески тяжело выдыхала через приоткрытые дверцы антикварного шкафа. Я поглаживала её по шершавым стенам, и она успокаивалась. С ней мне было не так одиноко.

Пройдя недельный этап адаптации к новой жизни, я снова оказалась в пятнице. В этот день недели одиночество ощущалось особенно остро на фоне царящего в городе лёгкого возбуждения и предвкушения веселья. Я выбралась на нашу террасу, на плечи утомлённо взгромоздилась жара. С улицы доносился смех; компании молодёжи, разгорячённые летом и гормонами, шумно текли в сторону центра. Их лица привлекли меня своей дерзостью, жизнерадостностью и какой-то ещё пока необузданной уверенностью в том, что они покорят этот мир.

Не сегодня (сегодня только веселье), но, возможно, уже завтра. Я почувствовала, что во мне что-то встрепенулось, зашевелилось и стало стремительно перемещаться, пока не достигло сердца, от чего оно учащённо забилося. Вдруг захотелось заполнить собой весь мир, во мне распалялось желание деятельности, росла необходимость срочно всецело отдаться любимому делу. Правда, сначала предстояло выяснить, какому. Меня так захватила эта идея, что я не могла долго заснуть и перебирала в голове, какое увлечение мне больше к лицу. Рисование? В первом классе я ходила в кружок ИЗО, преподаватель меня очень хвалил. Жаль, что я это забросила, могла бы уже наверняка стать известным художником. Но и сейчас не поздно начать! Гоген, например, занялся живописью в тридцать пять, не имея никакого художественного образования. Хотя нет, Гоген не самый удачный пример, востребованным-то он стал только после смерти. А я себя знаю, я так долго ждать не смогу. Или знаменитая бабушка Моисе! Вернулась после смерти мужа к рисованию и тут же стала популярной, и это в её 78! Я буду вставать с первыми лучами солнца и бежать в парк, чтобы уловить ТО САМОЕ мгновение! Думаю, мне ближе всего импрессионизм. Или экспрессионизм? Постоянно путаю. Нет, экспрессионизм — это про кричащее и болезненное. Мне по душе что-то более лёгкое, мимолётное. Наверно я стану как Моне (или Мане? Нет, Мане — люди, Моне — пятна), найду свои кувшинки и буду писать их всю оставшуюся жизнь. Я неутомимо выстраивала потенциальные истории своего успеха и заснула, когда уже начало светать.

На следующее утро будильник, заведённый на пять, я не услышала, проснувшись только в одиннадцать. Нет, ранние подъёмы не для меня. К тому же я читала, что американские учёные доказали: вынужденное пробуждение может негативно сказаться на психическом здоровье человека, а у меня и так стресс на стрессе (то интернет не работает, то Муж оставит, то камушек из нового кольца выпадет), да и по хронотипу я скорее сова. Значит буду рисовать картины в знойный полдень. Пока все трудятся в своих душных офисах, я буду стоять в благостном уединении с кисточкой в руках и дышать летом. А как же зимой? Дышать зимой тоже звучит романтично. Мохнатые снежинки цепляются

за волосы, щеки горят на морозе, под ногами похрустывает снег... Ну, до зимы ещё дожить надо! Однако пока я собиралась в парк, день расплавленной массой перетёк в вечер. Вдалеке заворчал гром. Раз такое дело, можно начать с натюрморта. Я поставила вазу с цветами на фоне драпированной ткани, которой послужил мой шарф, рядом со старательной небрежностью разложила яблоки, принесла блюдо с увесистыми гроздьями винограда. Но на этом я была вынуждена прерваться, так как с прискорбием осознала, что в пылу вчерашней эйфории совершенно забыла заказать краски. Обидно, придётся отложить — минимум до завтра.

Дефицит общения проявлялся у меня по-разному. На Алесю по понятным причинам я ставок не делала. Сначала я разговаривала с Изольдой Генриховной, но она только вздыхала в ответ или несогласно щёлкала где-то в утробе газовой колонки, поэтому пришлось переключиться на более энергичного собеседника. За беседой с самой собой время пролетало незаметней, а на душе становилось легче. Я могла с собой заговорщически шушукаться, обсуждать животрепещущие темы, внезапно перейти на иностранный или на личности, поспорить, одёрнуть, поругаться или даже обидеться, ненадолго замолчав. Всё-таки непростой я человек, но ведь интересный, и любую тему подерживаю с удовольствием. Перед сном я часто лежала и думала, где сейчас мой Муж, и, существует ли вообще это место? Меня терзали сомнения. Порой мне казалось, что мир ограничивался пределами нашей квартиры. Последнее, что я видела, засыпая, — промелькнувший по стене и исчезнувший где-то за шкафом свет от фар проезжающей мимо дома машины. Изольда Генриховна недовольно крикала и погружалась в сон. Ещё один день прожит.

Через день раздался звонок в дверь. «Фрау Кё? — спросил запыхавшийся мужчина в жёлто-красной форме. Я неуверенно кивнула. Он протянул мне коробку. — Распишитесь, пожалуйста». Наконец у меня есть всё необходимое для начинающего живописца! Жаль, что виноград к тому времени сильно поредел, да и цветы окончательно приуныли. Провозившись два часа и съев в процессе моих мытарств все ягоды из натюрморта, я пришла к выводу, что рисование не сможет скрасить мои будни

и стать призванием. Получилось неплохо, задатки есть, я это определённо видела, но с чего я взяла, при моей неусидчивости, что мне это подходит?! Я же ещё в детстве променяла художку на танцевальный кружок. Я всегда любила танцевать! Под звуки музыки внутри меня словно пробуждались неведомые существа, которые настырно лезли наружу, двигали моё тело, отрывали от реальности... Может, мне стать балериной? Я подошла к зеркалу, скользнула взглядом по выразительным формам, с трудом дотянувшись руками до пола, проверяя гибкость, вздохнула — нет, пожалуй, поздно. Иначе непременно были бы все шансы оставить след в истории танца.

После добровольного заточения я начала изредка выбираться на улицу. Ноги неизменно тащили меня по тем же маршрутам, по которым мы ходили с Мужем. Вдвоём идти было куда веселее. И медленнее. Теперь по улицам я неслась, торопливо поглядывала на часы, словно где-то меня уже ждали, деловито поправляла наушники, прислушиваясь к чему-то важному, нетерпеливо теребила телефон — не иначе как в ожидании важного звонка. Никто не должен заметить мою растерянность, я вся в делах, востребована и счастлива. Как назло мне попадались навстречу исключительно пары, на которые я бросала завистливый взгляд, короткий, потому что некогда... Наверно, одинокие люди были вытеснены из центра более успешными соплеменниками, и вынужденно обитали сейчас в отдалённых районах города, виновато прятали глаза от официанта, заняв столик, рассчитанный больше чем на одного, возвращались домой до наступления темноты во избежание неприятных инцидентов. Вот и я спешила. На этот раз к Изольде Генриховне. В ушах отбивала ритм глухая тишина, потому что наушники в ушах были, а музыки в них не было.

А может мне освоить какой-нибудь музыкальный инструмент? Помню, в детстве я проявляла интерес к пианино. В гостях никогда не упускала возможность хаотично пробежаться руками по клавишам. У меня выходило нечто похожее на Стравинского, хотя, конечно, о его существовании я тогда ещё не знала. И пальцы у меня длинные и тонкие. Эстетическая составляющая — тоже ведь немаловажно. К тому же я слышала, что

музицирование успокаивает, а мне сейчас это крайне необходимо. Я смогу скрасить свои долгие вечера токкатами Баха, «Лунной сонатой» Бетховена и «Каноном в ре-мажоре» Пахельбеля. Это просто прекрасная идея! Тем более сейчас можно найти уйму обучающих видео в интернете, и недорогой синтезатор купить не проблема. А потом я смогу проводить целые музыкальные вечера и играть, смущаясь восхищённых взоров друзей.

Спустя пару дней от занятий музыкой пришлось отказаться. Ну или по крайней мере оставить до лучших времён. Я честно предпринимала попытки освоить инструмент, но выяснилось, что все эти «туториалы» сняты не для того, чтобы помочь таким ищущим себя людям, как я, а чтобы выпускники музыкальных учреждений смогли покрасоваться на публике и продемонстрировать свои навыки. В общем, с синтезатора я теперь заботливо стирала пыль и лишь изредка касалась его клавиш, воспроизводя единственный разученный мною за это время «Собачий вальс». Ну, хотя бы узнала, что в разных странах его называют по-разному (мой девиз — расширяй кругозор при любой возможности). Музыкальный вечер я всё ещё не готова устроить, но, по крайней мере, смогу вернуть как-нибудь в светской беседе, что «Собачий вальс» также носит название блошинный, ослиный и даже котлетный! А в Японии эту незамысловатую мелодию называют «Нэко-Фундзятто». Я долго крутила эту фразу на языке, в голове плыли картинки с гейшами, чайными церемониями и самураями, совершающими сэппуку в знак верности своему даймё. Разочарование пришло ко мне с переводом, оказалось, что это значит «Я наступил на кошку». Всё равно надо запомнить, где-нибудь пригодится.

Новый день принёс мне свежую идею. И вот я уже кропотливо мастерила украшения из бисера. Во все времена ценились изделия ручной работы, рассуждала я, это прекрасная возможность не только продемонстрировать свои дизайнерские способности, поделиться с миром частичкой себя, но и занять свою нишу на современном рынке. Я открою небольшой онлайн-магазин, и люди со всего мира смогут заказывать мою бижутерию. Меня переполняла гордость при мысли, что в разных уголках света я буду встречать модниц в моих серьгах, браслетах,

бусах... И почему в тот момент я не вспомнила, что усидчивость — не мой конёк? По крайней мере, это сохранило бы мне день и подушечки пальцев, пострадавших в неравном бою с иголками. Я гордо, словно медаль «За трудовое отличие», надела выстраданную фенечку на руку. С такой скоростью рынок я не покорю, зато себе подарок сделала. Я улыбнулась, во всём надо находить плюсы.

По вечерам я провожаю закаты. Даже когда солнце скрывается за серым плотным балдахином угрюмых облаков, я стою на балконе и жадно смотрю в точку, где обычно исчезает светило. Моё воображение дорисовывает недостающие детали. Мне кажется, как только люди устают восхищаться этим миром, мир избавляется от них. Раньше мы смотрели на закат с Мужем. Интересно, какие закаты у него сейчас, и не забывает ли он любоваться ими? Надо мной с восторженным криком носятся стрижи, я смотрю на их безумные пики в ржавом, взбитом крыльями, небе, и понимаю, что эти птицы самые счастливые на свете. Сквозь терракотовые лоскуты заката ещё виднеются голубые полоски неба. Но с востока уже неумолимо наползает гранитной плитой чёрная туча. Скоро небо задержит дыхание и погрузится в темноту.

Так прошли три недели. Между делом было прочитано пять книг, в интервьюере Изольды Генриховны появился ещё один музыкальный инструмент (да-да, гитара у меня уже была, но от струн ужасно болели пальцы), лежали без дела художественные принадлежности, на полу там и тут поблёскивал бисер. Надо признать, издержки поиска себя внушительные, особенно при нулевом результате. И когда я умудрилась-таки себя потерять? Не может же быть, чтобы человек ни на что не был способен? Или я исключение? Быть особенной, несомненно, приятно, но не тогда, когда речь заходит о недостатке талантов. Нет, это невозможно! Да, очевидно, мне не даются те вещи, которые надо делать руками, но я неглупа, креативна и хорошо умею ладить с людьми. Думаю, что не лишена эмпатии. И я всегда хотела изменить мир к лучшему. Может быть, податься в волонтеры? И даже поехать в Африку? Мне всегда было интересно побывать в Африке! Наверно, пребывание там будет не самым простым,

но зато я прочувствую жизнь ярче, тоньше, найду новые смыслы. Возможно, я даже смогу написать потом про это книгу. «Поглощённая Африкой», или нет, лучше «Возрождённая Африкой». В своих фантазиях я уже ходила в цветастых хлопковых платьях, играла с обездоленными детьми, спасала слонов от браконьеров, когда вдруг раздался звонок в дверь: Муж из командировки вернулся! Африка отменяется! 



Виталий Кропман

Гусь лапчатый

11:30, 13 мая 1973 года

— Летят утки, летят утки! И два гуся...

С детства знакомая песенка вспомнилась почему-то именно сейчас. Но гусь-то здесь, допустим, один. Когда отец приезжал в Москву, входил в нашу квартиру в сталинской высотке, я, маленький, со всех ног бежал к нему через длинный коридор. Он на ходу подхватывал меня и бросал вверх. Я летел под потолок, смешно дёргая ногами, будто пытался взять разбег. «Гусь лапчатый», — называл меня в эти минуты отец. Почему гусь? Почему лапчатый?

Гусь лапчатый... Я никогда раньше не вспоминал это прозвище. И в школе, и в училище, да и здесь — я всегда был «Вороном»... Сергей Воронов... Ворон...

«Гусем» меня называл только отец...

Но если есть гусь, то, как в песне, должны быть и утки. А вот, кстати, и они. Справа, довольно далеко от меня, на большой высоте из-под облака вынырнули две серебристые птицы. Без шансов, ребята, поздно спохватились...

23:00, 12 мая 1973 года. Гроссенхайн

«Привет, папа. Я не верю, что ты сможешь когда-нибудь прочитать это письмо, но и не написать его не могу. Возможно, это мой единственный шанс попытаться объясниться, рассказать, как и почему я решился на этот шаг.

Но сначала хочу попросить у тебя прощения. И даже не за то, что мой поступок наверняка поставит крест на твоей карьере, которой ты посвятил большую часть жизни...»

Виталий Кропман (1961, Пермь). Журналист. По образованию инженер-электрик. В журналистике с 1990 года. Работает в русской редакции *Deutsche Welle*. Публиковался в журнале «Берлин.Берега». В Германии с 2002 года. Живёт в Берлине.

Редактор рассказа: **Григорий Аросев**.

12:30, 13 мая 1973 года. Брауншвейг

Ганс Хофман, издатель и главный редактор газеты «Брауншвейгер Цайтунг», уже около часа мерял ногами свой по-спартански обставленный кабинет. Он словно и не замечал по-весеннему солнечного дня. Скорее наоборот, специально уехал на работу в воскресенье, понимая, что в редакции царит несвойственная ей в обычные дни тишина, а значит, никто и ничто не сможет помешать ему сосредоточиться.

Мысли, погнавшие Хофмана на работу, были невесёлые. В последнее время дела у газеты шли неважно: подписка сокращалась, тираж падал, а вместе с ним в пике уходили и рекламные доходы. Из возникшего кризиса было два выхода. Первый Гансу откровенно претил, хотя был довольно прост. Надо было отказаться от принципиальной позиции издания, напечатанной большими буквами на титульной полосе прямо под названием газеты: «Независимая, не связанная с партиями», которой он очень гордился и всячески придерживался. Потенциальных спонсоров было предостаточно, но Хофман всегда отвергал любые по-ползновения. «За деньги мы вынуждены платить свободой», — часто повторял он за любимым с детства стоном. Но ни в остров сокровищ, ни в иные чудеса Ганс, опытный журналист, уже давно не верил. Поэтому, забыв о времени, мерил и мерил широкими шагами свой кабинет в поисках решения.

10:50, 13 мая 1973 года. Гроссенхайн

Небо было лазурным, высоким, прозрачным и отдохновенным. Под стать воскресенью. Казалось, что и природа решила объявить выходной. Красно-белый носок, установленный на высокой мачте над командно-диспетчерским пунктом аэродрома, болтался безжизненной тряпкой, знаменуя полный штиль. Над полем царил тишина — полётов в выходные дни не было, отдыхали и лётчики. Дежурный по аэродрому лейтенант Заслонов не спеша обходил вверенную ему территорию, наблюдая, как солдаты-срочники занимаются рутинными хозяйственными работами — по дивизии был объявлен парковый день. Кое-где сутились техники, готовя машины к завтрашним полётам.

Из ангара, где стоял истребитель-бомбардировщик Су-7 БМ с бортовым номером 52, раздался грохот запущенного двигателя. Заслонова этот звук не смутил: мало ли для каких целей это понадобилось технику. Лейтенант пошёл было дальше, но увиденное заставило остановиться: из ангара выкатывалась серебристая сигара самолёта. Лицо сидящего за штурвалом человека Заслонов рассмотреть не успел.

Самолёт слегка присел на переднее колесо, опробовав тормоза, а затем медленно и как-то неуверенно покотил в сторону взлётной полосы.

12:45, 13 мая 1973 года. Брауншвейг

Хофман взял с телетайпа последние рассылки агентств. Все ленты открывались сообщением, что Москва и Бонн, наконец, согласовали сроки визита в ФРГ Леонида Брежнева. Для общегерманского издания — это, разумеется, новость номер один. Ни один советский лидер ещё не приезжал в ФРГ после окончания войны. Если бы у Хофмана, довольно свободно владеющего русским языком, появился шанс задать хотя бы несколько вопросов Брежневу... Тема потенциальной советской угрозы живо интересовала читателей в городе, расположенном всего в получасе езды на автомобиле от границы с ГДР. И интервью с хозяином Кремля могло бы стать хорошим толчком для газеты...

Из раздумий Хофмана вырвал звонок телефона.

— Привет, Ганс, — в трубке камнепадом перекатывался голос начальника городской полиции, его старого приятеля Дитера Мюллера. — Знаю, что ты в офисе, так что быстро отрывай свою задницу от кресла и бегом ко мне.

Хофман внутренне напрягся. Это чувство возникало в нём всегда в предвкушении большого материала. И никогда не подводило за годы карьеры.

— Что произошло, старый ты бык? — спросил он, стараясь спрятать волнение в голосе за напускной грубостью.

— Не по телефону. Мне потребуется твоя помощь. Выезжаю на место через пятнадцать минут. Надеюсь, ты успеешь до меня добраться...

11:00, 13 мая 1973 года. Гроссенхайн

— Ну, Серёга, пан или пропал, — пытаюсь уговорить я себя. — Пока всё получается. Да и обратной дороги всё равно нет. Так, все системы во взлётном положении, добавляю газ. Теперь надо уследить одновременно за набором скорости, длинной полосы, а ещё за тем, чтобы колесо не уходило с осевой. На тренажёре все было куда проще. На тренажёре...

Прости меня, Колька, я обманул тебя. Ты пускал меня на тренажёр, хотя и не имел на это права. Конечно, ты не мог знать, что я задумал, просто поверил моим рассказам, как я мечтал стать лётчиком, да не срослось. Ты разрешал мне «полетать», веря, что помогаешь почувствовать себя пилотом. Когда всё вскроется, тебе, конечно, этого не простят. Хорошо, если просквозишь мимо трибунала.

Так, газ до упора, включаем форсаж, бетонная полоса размазывается на встречу серой лентой... Какая она, оказывается, короткая. Сто километров в час, сто пятьдесят, двести... Скорость отрыва... Медленно тяну ручку на себя, нос задирается. Теперь главное — не суетиться: ещё чуть-чуть, и машина сама поднимется в воздух. Есть отрыв. И никуда не сворачивать. Этот курс приведёт меня туда, куда надо.

11:05, 13 мая 1973 года. Гроссенхайн

Время для Заслонова словно остановилось. Замерев на месте и не отводя глаз, он наблюдал, как самолет отрывается от полосы и, не убирая шасси и не выключая форсаж, набирает высоту, всё больше отдаляясь от аэродрома. Оцепенение было недолгим, лейтенант со всех ног бросился на командный пункт, где был телефон.

11:35, 13 мая 1973 года. Окрестности Брауншвейга

Тревожный зуммер заполнил кабину. Топливо было на исходе: полёт на форсаже, а отключить его он побоялся, полностью сконцентрировавшись на управлении и удержании курса, не прошёл даром. Сергей посмотрел на часы: он взлетел чуть более двадцати пяти минут назад. Уже наверняка достиг цели.

О том, чтобы попробовать приземлить самолёт, и мысли не было — верная смерть. Так что выход был один. «Взлетать и лететь на тренажёре я научился, но парашютного опыта приобрести было негде», — снова сказал себе Сергей. Оставалось только вновь понадеяться на удачу. Он мысленно собрался с духом и дёрнул чеку. С грохотом отлетел фонарь, и какая-то мощная рука вместе с креслом выкинула его из кабины на десяток метров вверх. Теряя сознания от перегрузки, он увидел, как истребитель улетает.

11:38, 13 мая 1973 года. Окрестности Брауншвейга

Ульрих Бауэр наслаждался погодой и выходным днём. Бутылка пива слегка холодила его крестьянскую руку. Ульрих любил свою непростую работу, которой посвятил всю жизнь, за исключением пяти лет на Восточном фронте. Сегодня, после тяжелой недели — не зря же говорят, что весной неделя год кормит — он имеет право на отдых. Ульрих уже собрался привычным движением откупорить бутылку, когда услышал нарастающий рёв. Из пушистого облака вывалился серебристый цилиндр самолёта с красными звёздами на крыльях. Последний раз такие звёзды на крыльях Ульрих видел почти тридцать лет назад, молодым парнем под Берлином. И тогда ничего хорошего их появление не предвещало.

Бауэр наелся той войной по горло. И почему-то был уверен, что русские тоже навоевались на годы вперёд. Наверное, поэтому Ульрих не верил газетам, часто писавшим о советской угрозе. Но что делает русский военный самолёт в небе рядом с Брауншвейгом?

Но ни ответить на этот вопрос, ни даже испугаться Бауэр толком не успел. Раздался резкий, похожий на взрыв, хлопок, кабина самолета окуталась дымом, что-то вылетело из неё вверх, и почти сразу же в небе раскрылся ярко-полосатый купол парашюта. «Ещё диверсантов нам тут только не хватало», — мелькнуло в голове Ульриха, но он уже сорвался с места и с несвойственного для немолодого и грузного человека скоростью бросился к центру их небольшой деревеньки, где располагалась полиция.

11:45, 13 мая 1973 года. Окрестности Брауншвейга

Сознание возвращалось медленно. Сначала он услышал голоса. Их было несколько, но что они говорили, Сергей понять не мог: за год с небольшим службы в ГДР хоть мало-мальски выучить немецкий язык ему так и не удалось. Знал только отдельные слова. Одно из них он сейчас слышал отчетливо: *Russ* — Русский. Вместе с сознанием пришёл страх: куда он всё-таки упал?

Сергей приоткрыл глаза. В образовавшуюся щель он увидел высоко над собой узкую полоску прозрачного голубого неба, которое, пусть недолго, пусть всего лишь какие-то полчаса, принадлежало ему. Через долю секунды небо от него закрыли серо-голубые мундиры.

13:00, 13 мая 1973 года. Окрестности Брауншвейга

Сирена разрывала беззаботную тишину дня. Мюллер уверенно гнал полицейский «Опель» вдоль осевой линии, словно ледокол прибивая льдинки к обочине встречные и попутные автомобили.

— Так что случилось, Дитер? За кем мы гонимся и зачем тебе я? — Хофман был не робкого десятка. За спиной осталась война, да и работа журналиста не для трусов. Но, единожды попав в аварию, гонки по просёлочным дорогам он не любил и, если не было особой необходимости, ездил аккуратно и не слишком быстро.

— Чуть более часа назад в шестидесяти километрах от города упал советский самолёт.

— Советский?

— Если верить звёздам на крыльях и надписям на русском языке на его обломках, то да.

— На земле кто-то пострадал?

— Кроме небольшого шока у нескольких местных жителей, ничего серьёзного. Самолет упал в поле, неподалеку от автобана.

— Экипаж погиб?

— Там был один лётчик. Он катапультировался, остался жив, не получив ни царапины. Его задержали мои люди, но он совсем не говорит по-немецки.

— Дитер, ты же не хуже меня знаешь, что будет дальше. Рано или поздно туда примчатся парни из контрразведки и заберут его. Дай мне возможность с ним поговорить.

— Я и позвал тебя с собой, потому что ты владеешь русским. Мне бы тоже хотелось задать ему несколько вопросов, пока он в нашей власти. Поможешь с переводом?

— Спрашиваешь. Но ты обещаешь, что дашь мне потом хотя бы десять минут.

14:00, 13 мая 1973 года. Окрестности Брауншвейга

Сергей смотрел в окно на такое далёкое уже небо. В комнате полицейского участка, куда его привезли, сейчас с ним оставался крепкий, хотя уже и немолодой мужчина, которого он сначала принял за переводчика — он помогал полицейскому, который почти час допрашивал его.

— Господин Воронов, я — Ганс Хофман, местный журналист. Глава полиции дал мне десять минут, чтобы поговорить с вами. Дальше вашими делами будет заниматься немецкая контрразведка. Скажите, почему вы решились на этот шаг?

— У вас хороший русский язык, господин Хофман. Где вы его выучили?

— У немцев моего поколения была возможность учить русский язык не по своей воле. Я изучал его почти семь лет в лагере на Урале. Но сейчас не обо мне.

— За десять минут я не смогу объяснить вам причины своего поступка. Просто напишите, что это был сознательный шаг.

— Но вы понимаете, что вас ждёт, если немецкие власти выдадут вас СССР?

— Я надеюсь, что моя просьба о политическом убежище будет услышана.

— А ваши родные, что будет с ними?

— Моя мама несколько лет назад умерла. Мой отец — офицер, преподаватель военной академии. Для него это, конечно, будет удар, но сейчас все-таки 1973-й год, а не 1937-й. Могу только надеяться, что он сильно не пострадает. Знаете, господин Хофман, у меня к вам будет одна просьба. Перед побегом я написал письмо отцу, но, разумеется, не стал его от-

правлять — адресат всё равно его не получил бы. Может быть, вы опубликуете письмо в своей газете? Я не думаю, что когда-нибудь смогу увидеть отца снова и объясниться.

16 мая 1973 года. Публикация в газете «Брауншвейгер Цайтунг»

«Письмо русского перебежчика отцу. Эксклюзив «Брауншвейгер Цайтунг».

Правительство ФРГ частично удовлетворило просьбу Москвы. Сегодня утром на пропускном пункте Альфа в районе города Хельмштедт советской стороне были переданы обломки истребителя-бомбардировщика Су-7, который три дня назад потерпел крушение неподалеку от Брауншвейга. Как удалось выяснить нашему изданию, самолёт, способный нести ядерное оружие, был угнан с советской авиабазы в Гроссенхайне. Угонщик — старший лейтенант Сергей Воронов — авиационный техник без лётного опыта. После пересечения границы между ГДР и ФРГ он смог успешно катапультироваться. Понимая, что в случае возвращения перебежчика в СССР, ему могут грозить пытки и смертная казнь, федеральное правительство удовлетворило просьбу Воронова о политическом убежище и отвергло запрос Москвы об экстрадиции.

Главный редактор «Брауншвейгер Цайтунг» Ганс Хофман был единственным журналистом, которому удалось пообщаться с Вороновым, вскоре после того, как советский военный был задержан сотрудниками полиции на месте приземления. Русский перебежчик передал ему письмо для отца, высокопоставленного советского офицера, преподавателя академии в Москве. Судьба этого человека редакции неизвестна. По просьбе Воронова мы публикуем письмо.

«Привет, папа. Я не думаю, что ты сможешь когда-нибудь прочитать это письмо, но и не написать его не могу. Возможно, это мой единственный шанс попытаться объясниться, рассказать, как и почему я решился на этот шаг.

Но сначала хочу попросить у тебя прощения. И даже не за то, что мой поступок наверняка поставит крест на твоей карьере, которой ты посвятил большую часть жизни. Я знаю

— ты сильный человек, настоящий офицер, и справишься. Как справился со смертью мамы и смог сохранить наш мир, который, как мне тогда казалось, в одночасье превратился в руины.

Нет, я хочу просить у тебя прощения за то, что не оправдал твоих надежд. Я помню, как ты гордился, когда мне вручили мои первые офицерские погоны, как радовался, что я получил назначение в авиационный полк ГСВГ в Гроссенхайне. Ты, коммунист до мозга костей, видел в этом особый знак: ведь на этом аэродроме ты встретил окончание войны, там несколько лет базировалась твоя дивизия под командованием Покрышкина.

Ты был моим кумиром. И твои рассказы о небе, о чувстве свободы, которое даёт человеку ощущение полета на истребителе, о фронтовом братстве, о людях, с которыми прошёл войну, о чести офицера предопределили мой путь. Я хотел стать военным летчиком, истребителем — как ты. И кто мог знать, что перенесённая в раннем детстве ангина, осложнения на сердце, которые я никогда не ощущал, казалось, похоронили мою мечту.

Я хорошо помню тот вечер, когда мне казалось, что жизнь закончилась. Мы сидели с тобой на кухне, я впервые выпил водку, запив её собственными слезами, а ты сказал, что настоящий мужчина всегда найдёт выход. И мы нашли его вместе: я всё-таки стал военным. Медицина закрыла мне дорогу в небо, но она не смогла помешать мне оказаться рядом с ним, рядом с теми, кто каждый день поднимались навстречу ему.

А теперь о том, почему я сделал то, что сделал. Ты учил меня никогда не врать, а оказалось, что весь мир вокруг под завязку заполнен враньём. Каждый день жизнь как будто выдергивала по одному кирпичику из того фундамента, на котором держалась моя система ценностей. Я видел жуткие проявления дедовщины, которых не должно быть в Советской армии, да ещё и за рубежом. Я видел, как тыловики продают местному населению всё, что можно продать. Я видел, как стучат друг на друга боевые лётчики — элита нашей армии. Каждый день словно сдувались воздушные шарик: офицерская честь, интернационализм, ленинские принципы. И осталась безвоздушное пространство. Вакуум.

А несколько дней назад наш особист вызвал меня к себе и тоже предложил стучать. Он недвусмысленно сказал, что если я откажусь, у меня будут серьёзные проблемы по службе. «Ты ведь понимаешь, Сергей, — сказал он мне, совершенно не стесняясь, — ты — лицо материально ответственное. У тебя всегда можно при желании найти недостачу. Ладно если какого-нибудь технического масла. А если вдруг пропадут боеприпасы? Так что подумай. И подумай хорошенько».

Вот я и подумал. Я не знаю, что ждёт меня завтра. Жить в вакууме человек всё равно не может. Но если мне и суждено погибнуть, я напоследок попробую исполнить свою мечту: впервые в жизни подняться в небо, ощутить то чувство свободы, о котором ты мне столько рассказывал. Надеюсь, хотя бы это окажется правдой.

Прости меня, папа и прощай. Не думаю, что нам суждено когда-нибудь ещё увидеться.

Люблю тебя.

Твой Гусь лапчатый». 

Марина Солнцева

Треники

Люблю, когда холодной водой по коже. Каждое утро — бассейн, при первой же возможности — на море. Когда мне было двенадцать, и я носила жёлтый купальник, как у цыплёнка, я прыгнула с пятиметровой вышки с разбегу вниз. Б-б-б-блум. И проблем нет. Раз. Есть только движения руками. Два. И какая-нибудь дурацкая приставучая песенка в голове. Три. Когда песня застревает у тебя в голове, немцы называют это «червячком в ухе». Вперёд. Упругость воды. Вперёд. Тягучесть.

Я не знаю, почему я так люблю плавать. Я ведь гораздо больше люблю красный цвет и чтобы что-то горело. Свечка, камин, мангал, сигарета. Когда мы с подругами собираемся на новолуние, пьём винишко, пишем записочки Луне и жжём пало санто, огонь у меня хлещет ярче всех. Польшахает.

Только не подумайте, что мы ебанутые. Просто в ретроградном меркурии так написано — нужно сжигать записочки на новолуние. Писать в записочках нужно о том, чего тебе хочется больше всего, о самом сокровенном, но так, как будто бы это уже сбылось. Например: «Ярослав написал мне во вторник, пришёл ко мне с гладиолусами и трахнул меня как следует». Или: «Лукашенко с Вовой утомонились, состарились, сказали хором „мы устали“ и ушли на пенсию. Сидят на даче. Жарят пашлык». Иногда сбывается.

У меня ведь постоянно в руках что-то горит, плавится чайник, трескаются свечки в стеклянных подсвечниках, и не говорите мне, что стекло огнеупорное. В прошлый раз, когда я снова жгла записочку Луне, свеча загорелась как сумасшедшая,

Марина Солнцева (1993, Струнино, Владимирская обл.). Окончила факультет международных отношений и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета, а также факультет политологии Свободного университета (Берлин). Публикация в журнале «Берлин.Берега» стала первой. В Германии с 2017 года. Живёт в Берлине. Редактор рассказа: **Дмитрий Вачедин**.

метровый огонь до потолка с лепниной. С перепуту поставила свечку на подоконник с открытым окном. Дура, да? Это я только потом поняла, что дура, когда красная свечка расплавилась, и красным восковым ручьём потекла по белой стене немецкого холёного вильмерсдорфского альтбау вниз прямо на подоконник к противному соседу и замерла там лужей. А сосед и без того приходит по ночам и в дверь ногами стучит. Якобы потому что мой кот в момент игривого настроения слишком громко топает лапами по паркету. Как будто у меня не персидский кот с плоским носом, а квадратный динозавр с мартовской точкой. Вы бы видели этот красный след на стене. И сразу всем соседям, пожилым бабушкам и дедушкам, видно, из чьего окна он идёт. Кстати, в той записочке я просила Луну о том, чтобы все токсичные и абьюзивные люди исчезли из моей жизни. Хрен его знает, сработало или нет, но сосед жаловаться так и не приходил.

А вода меня вроде как успокаивает. Охлаждает. Поэтому каждым летом мы обязательно едем на море, вот и сейчас приехали в Туапсе. Купили бутылку текилы в ночном магазинчике. Последнюю. Потому что заходим сюда каждый вечер. А ещё килограмм лимонов и пачку соли, и пошли в шортах в сторону пляжа.

Смешно, но соль приходится покупать пачками. Каждый вечер мы покупаем новую пачку соли и оставляем её на пляже. Вчерашняя соль наверняка ещё там же лежит или смешалась с песком. Взять солонку за ужином в гостинице никому не приходит в голову. Да и скучно это — планировать такие детали. Такое только маньяки планируют. В ежедневник себе записывают: Первое. Взять за ужином солонку, на случай если мы снова будем пить текилу ночью на пляже. Второе. Прирезать соседку Людмилу Ивановну в подворотне во вторник.

А всё потому, что Коля — сноб. Без лимонов и соли текилу не пьёт.

Соль. Текила. Лимон. Соль. Текила. Лимон. Юлька, а пойдём со мной в море плавать.

В море пошли голыми, всё равно лето, море и ночь, и наших голых жоп никому не видно. Колька плыл рядом и что-то рассказывал, а я что-то ему отвечала. Сколько мы плыли,

не знаю. Медовое чувство в животе, колькины разговоры, отсутствие плавок и текила делали своё дело. Да и часов на руке у меня, конечно же, не было. Как будто всегда беру их с собой, чтобы в море ночью голой поплавать, а сегодня как раз не взяла. Забыла. Ну, всё? Обратно? Мы развернулись. Берега не было видно. Оказывается, мы плыли и разговаривали, плыли и разговаривали, и никто из нас не заметил, что пока мы плыли в чёрной воде, чёрном море и чёрном небе, нас унесло гораздо дальше, чтобы мы могли вернуться обратно.

Я слышала, как ребята на берегу кричали: «Коля! Юля!» Интересно, они сразу заметили, что нас нет, или только когда текила закончилась, и Илюха стал делать ангелов без трусов на песке? Я кричала им, конечно, в ответ. Но когда ты ночью на берегу, то слышишь только море и ветер. И, может быть, ещё пьяное лето. Mam, похоже, ребята позвонят тебе и скажут, что домой я уже не приду. Извини.

Я плыла вперёд, на луну. И кричала: «Ребята, ау!» А потом кричала Кольке назад: «Колька, ты где? Плывёшь?» Колька был пьян, и отставал, но отвечал: «Плыву». А потом вдруг перестал отвечать. Ну и что теперь делать? Возвращаться назад и искать Кольку там, в темноте? Или всё же попытаться доплыть к маленьким человечкам на пляже? К маме. Или к луне. Колька, прости, я только доплыву до берега и сразу же вернусь за тобой. Как-нибудь в другой раз.

Я долго делала эти глупые монотонные движения руками, пока просто не выпла на четвереньках из воды. Уже можно было встать и идти, а я просто лежала голыми сиськами на песке. Пьяный Илюха орал: «Где Колян?» Я только махнула рукой туда, в темноту. Илюха метнулся в воду и минут через семь вышел обратно. С Колькой. Пьяным и голым. Ребята орали матом, что мы идиоты, а пьяный Колька только хихикнул: «Ребят, а я в Турцию плавал, за кальяном». В ту ночь мы всё-таки пошли к Кольке. Но не потрахались. Просто лежали мокрые и в песке на полосатых хлопковых простынях и ничего друг другу не говорили. Я ушла утром и Кольку больше никогда не видела. Подруги потом рассказали, что в ту ночь на пляже утонула парочка. Их просто унесло в море.

Когда человек тонет, вода попадает в лёгкие, и он сразу же теряет разум.

Два, три, четыре вдоха в воде — вот максимум человека. Очень тренированные люди могут находиться до шести минут под водой, такие как спортсмены или ловцы жемчуга. Считается, что через двадцать минут под водой без доступа кислорода погибает мозг. Я это знаю, потому что мой папа — патологоанатом.

Он живёт в Ярославле и окончил Ярославское медучилище. Только я с ним не знакома. Потому что он сам не захотел. Испугался, когда узнал, что мама беременна. Струсил, с кем не бывает. Порезал моей маме запястье. У мамы до сих пор выпуклый белый шрам. Он живёт в двухэтажном жёлтом доме на улице Свободы, дом 18. Наверняка носит дома потёртые спортивные штаны с растянутыми коленками. Довольно посредственный папа. Как у всех. Обычный.

Когда мне исполнилось восемнадцать и у меня прошли прыщи на лице, я ведь хотела поехать в Ярославль и познакомиться с тобой, пап. Вот бы ты удивился. И семья твоя тоже. Моя сестра или брат. Ну или твоя собака. Сидишь ты такой перед телевизором на диване, пьёшь пиво после работы, после своих патологоанатомских дел, а тут я. «Пап, а ты правда патологоанатом?» — «Не патологоанатом, а судмедэксперт», — обязательно поправил бы меня ты. Это другое. Судмедэксперты круче патологоанатомов. Начитанные ботаники, как шерлок-холмсы. Если бы я тогда умерла там в море, ты бы смог определить, что у меня в моих розовых лёгких с альвеолами, похожими на виноградные грозди, две трети воды. Или что я умерла просто потому, что меня съели рыбы.

В детстве я мечтала, что ты появишься. Например, когда мне исполнится десять. И подаришь мне десять тортов, ну как бы сразу за все те торты, что ты мне должен. Однажды отправила тебе фотографию. Привет, пап! У меня щёлка между зубами и длиннющие волосы ниже жопы. А на голове подсолнух.

Мечтала, что будешь большим и сильным. Что будешь меня защищать. От Коляна. Научишь, что не надо купаться с идиотами ночью в море. Тем более, без трусов. Объяснишь, как

обращаться с электроприборами, и что не нужно читать книги по хиромантии, верить в ретроградный меркурий, ставить свечки на открытые окна и лить соседу на голову красный воск. И что будешь ужасно мною гордиться. Я ведь специально такая стала, пап. Уехала в МГУ, только чтобы приехать к тебе однажды и сказать: Привет, пап, а я в МГУ учусь. Я молодец. Я сама. И ты не имеешь к этому никакого отношения. И волосы ниже жопы. А потом в Берлин, тоже из-за тебя. Чтобы что-то тебе доказать. Что я известный врач. Всего добила, и без твоей помощи, пап. Ты бы очень был рад. Завидовал бы. И немножко грустил. Что все двадцать семь лет не был рядом.

Но я не поехала в Ярославль. Просто, потому что боялась, что от нашей встречи у тебя мог бы случиться инфаркт. Или у твоей жены. Или у собаки. Или у банки с пивом. Судмедэксперты потом написали бы в экспертизе: умер от встречи с дочерью. А ещё больше всего боялась, что я приеду, найду жёлтый двухэтажный дом, позвоню в домофон, поднимусь на второй, а ты в спортинках. С растянутыми коленками. Здравствуйте. Вам кого? А я молчу. Только на твои синие треники смотрю.

Говорят, что девочки, которых любят папы, потом ничего не боятся. Говорят, ты был весёлым парнем, пап. Душой компании. Это у меня от тебя. Я точно знаю. Недавно мама сказала, что ей подруга сказала, а ей сказал какой-то старый ярославский приятель на встрече выпускников, что ты умер, пап. Так что теперь я уже точно никогда не узнаю, какие треники ты носил дома. Я знаю только, что ты тоже любил плавать. 



Kurt Tucholsky

Danach

Es wird nach einem Happy-end
im Film jewöhnlich abjebndt.
Man sieht bloß noch in ihre Lippen
den Helden seinen Schnurrbart stippen —
da hat sie nun den Schentelmen ...
Na, un denn — ?

Denn jehn die Beeden brav ins Bett.
Naja ... diss is ja auch janzt nett.
A manchmal möcht man doch jern wissen:
Wat tun se, wenn se sich nich kissen?
Die könn ja doch nich immer penn ...!
Na, un denn?

Denn säuselt im Kamin der Wind.
Denn kricht det junge Paar n Kind.
Denn kocht sie Milch. Die Milch looft üba.
Denn macht er Krach. Denn weent sie drüba.
Denn wolln sich Beede jänzlich trenn ...
Na, un denn?

Курт Тухольски (*Kurt Tucholsky*; 1890, Берлин — 1935, Гётеборг). Писатель, поэт и журналист. В 15-летнем возрасте потерял отца, который оставил семье значительное состояние, позволившее Курту получить юридическое образование в Берлине и Берне. Ещё в университете занимался журналистикой, интересовался литературой. Во время Первой мировой войны на Восточном фронте издавал полевою газету. После войны стал убежденным пацифистом. В годы Веймарской республики в своих статьях активно протестовал против политических убийств, в том числе Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Как и его кумир Генрих Гейне, способствовал взаимопониманию между Германией и Францией. Убедившись в бесполезности своей борьбы за демократию в Германии, Тухольски в начале 1930-х годов переселился в Швецию. В 1935 году покончил с собой, не выдержав тягот постигшей его болезни.

Denn is det Kind nich uffn Damm.
Denn bleihm die Beeden doch zesamm.
Denn quäl'n se sich noch manche Jahre.
Er will noch wat mit blonde Haare:
vorn dof und hinten minorenn ...
Na, un denn?

Denn sind se alt. Der Sohn haut ab.
Der Olle macht nu ooch bald schlapp.
Vajessen Kuss und Schnurrbartzeit —
Ach, Menschenskind, wie liecht det weit!
Wie der noch scharf uff Muttern war,
det is schon beinah nich mehr wahr!
Der olle Mann denkt so zurück:
Wat hat er nu von seinen Jluck?
Die Ehe war zum jrößten Teile
vabrühte Milch un Langeweile.
Und darum wird beim Happy-end
im Film jewöhnlich abjblendt.

Курт Тухольски
Перевод: Сергей Страхов

Потом

Когда за гранью хэппи-энда
Последний кадр прикроет бленда
И к губкам девицы-красы
Приблизит джентльмен усы,
Они воркуют шёпотом...
Ну а потом?

Потом — уютная кровать.
Да... там приятно побывать,
Но всё же интерес огромен:
А чем они займутся кроме?
Сперва — утехы день за днём...
Ну а потом?

Потом в камине ветер воет,
Дитя ночами беспокоит,
На кухне молоко сбегает.
Он разъярён. Она рыдает.
Развод маячит за окном...
Ну а потом?

Сергей Страхов (1956, Киев). Профессиональный переводчик. По образованию инженер-мостостроитель. Стажировался в Дюссельдорфе и Нью-Йорке. Помимо прочего, работал в гамбургской газете *Moskauer Börsenbrief*. Публикации в изданиях «Берлин.Берега», *Hamburger Mozaik*, *Hamburg und Wir*, *Slovo* (Гамбург), «Пенаты» (Лейпциг), *Impuls* (Киль). Автор текстов к двум CD-проектам. В Германии с 1999 года. Живёт в Киле.

Сынок болезненным растёт,
Они забыли про развод,
Но брачное не манит ложе —
К глупышкам тянет, помоложе,
И чтоб блондиночка притом...
Ну а потом?

Сын из дому. А старость в дом.
Старик стал двигаться с трудом.
Усы и поцелуй забыл он —
О, как давно всё это было!
Любовный жар минувших дней —
Поверить в это всё трудней!
И призадумался старик:
А был ли в жизни счастья миг?
Ведь брак их состоял, по сути,
из скуки, кухни, прочей жути.
Вот почему за хэппи-эндом
Последний кадр прикрыла бленда.

Курт Тухольски
Перевод: Людмила де Витт

Потом

В кино не верьте в *happy end*,
он в жизни — призрачный момент.
Вот на экране в её губы
герой вжимает ус и зубы.
Он, может, джентльмен притом.
А что потом — ?

Потом идут вдвоём в постель —
и закрутилась карусель...
Но как живут — вопрос волнует —
когда он даму не целует?
Накувыркались нагишом...
А что потом — ?

Свистят ветра — поёт камин.
У молодых в кровати сын.
Кисель комком. Сбежала каша.
Отец орёт. В слезах мамаша.
В их отношениях разлом...
А что потом — ?

Людмила де Витт (1957, Люберцы, Московская обл.). Филолог-германист. Окончила филфак МГУ им. М. Ломоносова. Работала гидом-переводчиком в «Интуристе», преподавателем немецкого языка, переводчиком и представителем различных фирм из ФРГ и Швейцарии. Публикации в журнале «Берлин.Берега», литературном объединении «Источник-11» (Гамбург), газете *TVRUS*, бюллетене Еврейской общины Киля и региона. Автор поэтического сборника «Зарубка» (2017). В Германии с 2001 года. Живёт в Киле.

Им жаль мальчонку. Как с ним быть?
Решают дальше вместе жить.
Года плывут как под сурдинку.
Отец завёл себе блондинку:
глупа, юна, да зад винтом...
А что потом — ?

Старик. Старуха. Сын в бегах.
Больной отец ослаб в ногах,
а вкус усатых поцелуев
беднягу больше не волнует,
и что на женщин падок был -
давно забыл!

Он озирается назад:
каков же счастья фасад?
Лежат на дне семейной чаши
унылость дней, ошмётки каши.
Друзья, не верьте в *happy end*,
жизнь — не кино, — эксперимент.

Frank Wedekind

Die Schutzimpfung

Wenn ich euch, ihr lieben Freunde, diese Geschichte erzähle, so tue ich es keinesfalls, um euch ein neues Beispiel von der Durchtriebenheit des Weibes oder von der Dummheit der Männer zu geben; ich erzähle sie euch vielmehr, weil sie gewisse psychologische Kuriositäten enthält, die euch und jedermann interessieren werden und aus denen der Mensch, wenn er sich ihrer bewußt ist, großen Vorteil im Leben zu ziehen vermag. Vor allem aber möchte ich von vornherein den Vorwurf zurückweisen, als wollte ich mich meiner Übeltaten aus vergangenen Zeiten rühmen, jenes Leichtsinnes, den ich heute aus tiefster Seele bereue und zu dessen Betätigung mir jetzt, da meine Haare grau und meine Knie schlottrig geworden, weder Lust noch Fähigkeit mehr geblieben sind.

»Du hast nichts zu befürchten, mein lieber, süßer Junge«, sagte Fanny eines schönen Abends zu mir, als ihr Mann eben nach Hause gekommen war, »denn die Ehemänner sind im großen ganzen nur so lange eifersüchtig, als sie keinen Grund dazuhaben. Von dem Augenblicke an, wo ihnen wirklich Grund zur Eifersucht gegeben ist, sind sie wie mit unheilbarer Blindheit geschlagen.«

»Ich traue dem Ausdruck seines Gesichtes nicht«, entgegnete ich kleinlaut. »Mir scheint, er muß schon etwas gemerkt haben.«

»Diesen Ausdruck mißverstehst du, mein lieber Junge«, sagte sie. »Sein Gesichtsausdruck ist nur das Ergebnis jenes von mir erfundenen Mittels, das ich bei ihm anwandte, um ihn ein für allemal gegen jede Eifersucht zu feien und ihn für immer davor zu bewahren, daß er je von einem ihn beunruhigenden Verdacht gegen dich befallen wird.«

»Welcher Art ist dieses Mittel?« fragte ich erstaunt.

»Es ist eine Art von Schutzimpfung. — An demselben Tage, als ich mich entschloß, dich zu meinem Geliebten zu nehmen, sagte ich ihm auch schon ganz offen ins Gesicht, daß ich dich liebe. Seitdem wiederhole ich es ihm täglich beim Aufstehen und beim Schlafengehen. Du hast allen Grund, sage ich, eifersüchtig auf den

lieben Jungen zu sein; ich habe ihn wirklich von Herzen gern, und weder dein noch mein Verdienst ist es, wenn ich mich nicht gegen meine Pflichten versündige, sondern es liegt nur an ihm selber, daß ich dir so unerschütterlich treu bleibe.«

In diesem Augenblick wurde mir klar, warum mich ihr Mann bei all seiner Liebenswürdigkeit manchmal, wenn er sich von mir nicht beobachtet glaubte, mit einem so eigentümlich mitleidig verächtlichen Lächeln ansah.

»Und glaubst du wirklich, daß dieses Mittel seine Wirksamkeit auf die Dauer behält?« fragte ich befangen.

»Es ist unfehlbar«, entgegnete sie mit der Zuversicht eines Astronomen.

Trotzdem setzte ich noch großen Zweifel in die Unverbrüchlichkeit ihrer psychologischen Berechnungen, bis mich eines Tages folgendes Ereignis in staunenerregender Weise eines Besseren belehrte.

Ich bewohnte damals inmitten der Stadt in einer engen Gasse ein kleines möbliertes Zimmer im vierten Stock eines hohen Miethauses und hatte die Gewohnheit, bis in den hellen Tag hinein zu schlafen. — An einem sonnigen Morgen um neun Uhr etwa geht die Türe auf, und sie tritt ein. Was nun folgt, würde ich niemals erzählen, böte es nicht den Beweis für eine der überraschendsten und trotzdem begreiflichsten Verblendungen, die im Geistesleben des Menschen möglich sind. — Sie entledigt sich auch der letzten Hülle und gesellt sich zu mir. Weiter habt ihr lieben Freunde nichts Verfängliches, Anzügliches von meiner Erzählung zu gewärtigen. Ich muß immer wieder betonen, daß es mir nicht darum zu tun ist, euch mit Unschicklichkeiten zu unterhalten. — Kaum hat die Decke die Reize ihres Körpers verhüllt, als Schritte vor der Türe laut werden; es klopft, und ich habe eben noch Zeit, durch rasches Emporziehen der Decke ihren Kopf zu verbergen, als ihr Mann eintritt, schweißtriefend und pustend infolge der Anstrengung, mit der er die hundertundzwanzig Stufen zu mir heraufgestiegen war, aber mit glückstrahlendem, freudig erregtem Gesicht.

»Ich wollte dich fragen, ob du mit Röbel, Schletter und mir einen Ausflug machst. Wir fahren per Bahn nach Ebenhausen und von dort mit dem Rad nach Ammerland. Eigentlich wollte ich heute

zu Hause arbeiten; nun ist meine Frau aber schon früh zu Brüchmanns gegangen, um zu sehen, was deren Jüngstes macht, und da fand ich bei dem herrlichen Wetter keine rechte Sammlung mehr zu Hause. Im Café Luitpold traf ich Röbel und Schletter, und da haben wir die Partie verabredet. Um zehn Uhr siebenundfünfzig fährt unser Zug.«

Derweil hatte ich etwas Zeit gehabt, mich zu sammeln. »Du siehst«, sagte ich lächelnd, »daß ich nicht allein bin.«

»Ja, das merke ich«, entgegnete er mit dem nämlichen verständnisinnigen Lächeln. Dabei begannen seine Augen zu funkeln, und die Kinnlade wackelte auf und ab. Zögernd tat er einen Schritt vorwärts und stand nun dicht vor dem Stuhl, auf den ich meine Kleider zu legen pflegte. Zuoberst auf diesem Sessel lag ein feines batistenes Spitzenhemd ohne Ärmel mit rotgesticktem Namenszug und darüber zwei lange schwarzseidene, durchbrochene Strümpfe mit goldgelben Zwickeln. Da nichts anderes von einem weiblichen Wesen sichtbar war, hefteten sich seine Blicke mit unverkennbarer Lüsternheit auf diese Garderobestücke.

Dieser Augenblick war entscheidend. Nur ein Moment noch und er mußte sich erinnern, diese Kleidungsstücke irgendwo in diesem Leben schon einmal gesehen zu haben. Kostete, was es kosten wollte, ich mußte seine Aufmerksamkeit von dem verhängnisvollen Anblick ablenken und derart bannen, daß sie mir nicht mehr entglitt. Das war aber nur durch etwas Nochniedagewesenes zu erreichen. Dieser Gedankengang, der sich blitzartig in meinem Hirne vollzog, veranlaßte mich dazu, eine Roheit von solcher Ungeheuerlichkeit zu begehen, daß ich sie mir heute nach zwanzig Jahren, wiewohl sie damals die Situation rettete, noch nicht verziehen habe.

»Ich bin nicht allein«, sagte ich. »Wenn du aber eine Ahnung von der Herrlichkeit dieses Geschöpfes hättest, würdest du mich beneiden.« Dabei preßte sich mein Arm, der die Decke über ihren Kopf gelegt hatte, krampfhaft auf jene Stelle, wo ich den Mund vermutete, um, auf die Gefahr hin, ihr den Atem zu nehmen, jede Lebensäußerung ihrerseits zu verhindern.

Gierig glitten seine Blicke an den von der Decke gebildeten Wellenlinien auf und nieder.

Und nun kommt das Ungeheuerliche, das Nochniedagewesene. Ich ergriff die Decke an ihrem untersten Ende und schlug sie bis an

den Hals empor, so daß nur ihr Kopf noch verhüllt war. — »Hast du je in deinem Leben eine solche Pracht gesehen?« fragte ich ihn.

Seine Augen standen weit aufgerissen, aber er geriet in sichtliche Verlegenheit. »Ja, ja — das muß man sagen — du hast einen guten Geschmack — nun, ich — werde jetzt gehen — verzeih mir bitte, daß — daß ich dich gestört habe.« — Dabei zog er sich zur Türe zurück, und ich ließ den Schleier, ohne mich zu beeilen, wieder sinken. Darauf sprang ich rasch auf die Füße und stellte mich neben der Türe so vor ihn hin, daß er die Strümpfe, die auf dem Sessel lagen, unmöglich mehr sehen konnte.

»Ich komme jedenfalls mit dem Mittagszug nach Ebenhausen«, sagte ich, während er die Klinke schon in der Hand hielt. »Vielleicht erwartet ihr mich dort im Gasthof zur Post. Dann fahren wir zusammen nach Ammerland. Das wird eine prächtige Tour. Ich danke dir bestens für deine Einladung.«

Er machte noch einige wohlgemeinte, jovial-scherzhafte Bemerkungen und verließ darauf das Zimmer. Ich blieb wie angewurzelt stehen, bis ich seine Schritte unten im Hausgang verhallen hörte.

Ich will es mir ersparen, den entsetzlichen Zustand von Wut und Verzweiflung zu schildern, in dem sich die bedauernswürdige Frau nach dieser Szene befand. Sie war seelisch wie aus den Fugen gegangen und gab mir Beweise von Haß und Verachtung, wie ich sie nie in meinem Leben empfangen habe. Während sie sich hastig ankleidete, bedrohte sie mich damit, mir ins Gesicht zu spucken. Ich verzichtete natürlich auf jeden Versuch, mich zu verteidigen.

»Wohin denkst du denn jetzt zu gehen?«

»Ich weiß nicht — ins Wasser — nach Hause — oder auch zu Brüchmanns — um zu sehen, wie es deren Jüngsten geht. — Ich weiß es nicht.«

Am Mittag gegen zwei Uhr saßen wir zusammen unter den schattigen Kastanienbäumen neben dem Gasthof zur Post in Ebenhausen, Röbel, Schletter, mein Freund und ich, und erlabten uns an gebratenen Hühnern und hellerschimmerndem saftigen Kopfsalat. Mein Freund, dessen Seelenzustand ich argwöhnisch beobachtete, beruhigte mich durch die ganz außergewöhnlich fröhliche Laune, in der er sich befand. Er warf mir scherzhaft treffende Blicke zu und rieb sich siegreich schmunzelnd die Hände, ohne indessen zu

verraten, was sein Inneres so froh bewegte. Die Tour verlief ohne weitere Störung, und gegen zehn Uhr abends waren mir wieder in der Stadt. Am Bahnhof angekommen, verabredeten wir uns in ein Bierlokal.

»Erlaubt mir nur«, sagte mein Freund, »daß ich eben nach Hause gehe und meine Frau hole. Sie hat den ganzen schönen Tag bei dem kranken Kinde gesessen und würde es uns übelnehmen, wenn wir sie nun den Abend zu Hause allein verbringen lassen.«

Bald darauf kam er mit ihr in den verabredeten Garten. Das Gespräch drehte sich natürlich um die überstandene Tour, deren Ereignislosigkeit von allen Teilnehmern nach Kräften zu erzählungswürdigen Abenteuern aufgebauscht wurde. Die junge Frau war etwas wortkarg, etwas betreten und würdigte mich keines Blickes. Er hingegen trug noch mehr als während des Nachmittags in seinem jovialen Gesicht jenes für mich so rätselhafte Siegesbewußtsein zur Schau. Seine überlegenen, triumphierenden Blicke galten jetzt aber mehr seiner versonnen dasitzenden Gattin als mir. Es war nicht anders, als hätte er irgendeine innere, ihn tief beseligende Genugtuung erfahren.

Erst einen Monat später, als ich mit der jungen Frau zum erstenmal wieder allein war, klärte sich mir dieses Rätsel auf. Nachdem ich noch einmal die heftigsten Vorwürfe über mich hatte ergehen lassen müssen, war eine oberflächliche Versöhnung erfolgt, nach deren mühevолlem Zustandekommen sie mir anvertraute, wie ihr Mann, als sie am Abend jenes Tages zu Hause mit ihm allein war, ihr mit verschränkten Armen folgenden Vortrag gehalten hatte: »Deinen lieben, süßen Jungen, mein Kind, den habe ich jetzt aber gründlich kennengelernt. Jeden Tag gestehst du mir, daß du ihn liebst, und ahnst dabei gar nicht, wie der sich über dich lustig macht. Heute morgen traf ich ihn in seiner Wohnung an; natürlich war er nicht allein. Freilich ist mir jetzt auch völlig klargeworden, warum er sich nichts aus dir macht und deine Empfindungen verächtlich zurückweist. Denn seine Geliebte ist ein Weib von so berückender, so überwältigender Körperschönheit, daß du mit deinen wenigen verblühten Reizen allerdings nicht mit ihr wetteifern kannst.«

Das, meine lieben Freunde, war die Wirkung der Schutzimpfung. Ich habe sie euch nur geschildert, damit ihr euch vor diesem Zaubermittel bewahren könnt. 

Франк Ведекинд

Предохранительная прививка

Перевод Ольги Мищенко

Рассказывая эту историю вам, мои дорогие друзья, я ни в коем случае не стремлюсь показать новый пример женской хитрости или мужской глупости; я рассказываю её вам скорее потому, что она содержит определённые психологические курьёзности, которые будут интересны каждому из вас и из которых человек, если он их осознает, сможет извлечь большую выгоду в жизни. Но прежде всего хотелось бы сразу отвергнуть упрёк в том, что я хваюсь своими прошлыми проступками, тем безрассудством, о котором я сейчас от всей души сожалею и для возвращения к которому у меня теперь, ввиду седых волос и отсутствия сил, не осталось ни желания, ни возможности.

«Тебе нечего бояться, мой любимый, сладкий мальчик, — сказала мне Фанни в один прекрасный вечер, когда её муж вернулся домой. — Потому что мужья, в основном, ревнуют только тогда, когда у них нет на то причин. В тот момент, когда действительно появляется причина для ревности, их словно поражает неизлечимая слепота».

«Я не доверяю выражению его лица, — неуверенно возразил я. — Мне кажется, он уже что-то заметил».

«Ты неправильно понимаешь это выражение, мой любимый мальчик, — сказала она. — Его выражение лица — это

Франк Ведекинд (*Benjamin Franklin Wedekind*; 1864—1918), немецкий писатель, драматург. Его драматургические взгляды обусловили появление антииллюзионистского театра. В своих пьесах критиковал современное общество. В начале XX века пьесы Ведекинда входили в число наиболее популярных в Германии несмотря на цензуру и клеймо «вредности» и «аморальности». Ключевые труды: «Пробуждение весны» (*Frühlings Erwachen*, 1891), «Дух земли» (*Erdgeist*, 1896), «Ящик Пандоры» (*Die Büchse der Pandora*, 1904).

Ольга Мищенко (1987, Пермь). Переводчик. Окончила факультет журналистики Пермского университета, училась там же на факультете иностранных языков, а также в университете им. Гуттенберга. Работала главным редактором газеты на русском и немецком языках *Deutsch in Perm*, сейчас работает в русской редакции *Deutsche Welle*. В Германии с 2013 года. Живёт в Бонне.

только результат выдуманного мной средства, которое я применила, чтобы раз и навсегда заговорить его от ревности и оградить от того, чтобы им овладели тревожные подозрения в твой адрес».

«Что это за средство?» — спросил я удивлённо.

«Это своего рода прививка. В тот день, когда я решила, что ты будешь моим любовником, я совершенно открыто сказала ему в глаза, что люблю тебя. С тех пор я повторяю ему это каждый день, когда просыпаюсь и ложусь спать. У тебя есть полное основание, говорю я, ревновать к этому милому молодому человеку; я его действительно люблю всем сердцем, и ни твоя, ни моя заслуга в том, что я не грешу против своих обязанностей, только благодаря ему самому я остаюсь так непоколебимо верна тебе».

В этот момент мне стало понятно, почему её муж, при всей его любезности, иногда, думая, что я его не вижу, смотрел на меня с такой странной сочувственно-пренебрежительной улыбкой.

«И ты действительно думаешь, что это средство будет действовать долго?» — спросил я недоуменно.

«Оно очень надёжно», — заверила она с уверенностью астронома.

Всё-таки я очень сильно сомневался в непогрешимости её психологических расчётов — до тех пор, пока однажды не произошло событие, которое удивительным образом убедило меня в обратном.

Тогда я жил в узком переулке в центре города, в съёмной квартире на четвёртом этаже, и имел привычку спать до полудня. Как-то солнечным утром, примерно в девять часов, вдруг открылась дверь, и вошла она. Что произошло потом, я бы никогда не стал рассказывать, если бы это не стало доказательством одного из самых удивительных и в то же время постижимых наваждений, которые могут произойти в духовной жизни человека. Она полностью разделась и присоединилась ко мне. — Теперь не следует, дорогие друзья, ожидать от моего рассказа ничего, вгоняющего в краску, ничего неприличного. Мне приходится всё время повторять, что я не заинтересован в том, чтобы развлекать вас непристойностями. — Не успело одеяло прикрыть прелести её тела, как послышались шаги за дверью, раздался стук, и у меня хватило времени только на то, чтобы натянуть на её голову одеяло, когда вдруг зашёл её муж, обливаясь

потом и сопя от усилий, с которыми он поднялся ко мне по ста двадцати ступенькам, но с излучающим счастьем, радостно взволнованным лицом.

«Я хотел спросить, пойдёшь ли ты гулять со мной, Рёбелем и Шлетером? Мы едем на поезде в Эбенхаузен, а оттуда — на велосипедах в Аммерланд. Вообще-то, я собирался сегодня работать дома; но моя жена ещё рано утром ушла к Брюхманам, чтобы посмотреть, как дела у их самого младшего, а на улице прекрасная погода, и у меня больше не получалось сосредоточиться. В кафе „Луитпольд“ я встретил Рёбеля и Шлетера, и мы договорились о поездке. Наш поезд отходит в 10:57».

Пока он говорил, у меня появилось время, чтобы собраться с мыслями. «Ты видишь, — сказал я, улыбаясь, — что я не один».

«Да, я это заметил», — ответил он всё с той же проникновенной улыбкой. И его глаза заблестели, а подбородок начал дёргаться вверх и вниз. Он нерешительно шагнул вперёд и оказался рядом со стулом, на который я обычно складывал свою одежду. Теперь сверху висела лёгкая батистовая блузка без рукавов и с вышитыми красными нитками буквами, а на ней — двое длинных ажурных, с золотистыми стрелками чулок из чёрного шёлка. Так как эти предметы гардероба были единственным, что осталось на виду от моей гостни, его взгляд с очевидной похотливостью приклеился к ним.

Это мгновение стало решающим. Ещё секунда — и он бы наверняка вспомнил, что в своей жизни уже где-то видел эту одежду. Я должен был любой ценой отвлечь его внимание от этого рокового зрелища и завладеть им так, чтобы оно больше от меня не ускользнуло. Помочь могло только нечто сумасбродное. Эти мысли, пронёсшиеся в моей голове со скоростью молнии, побудили меня совершить такое ужасное хулиганство, которое я не могу простить себе до сих пор, двадцать лет спустя, хотя тогда оно и спасло ситуацию.

«Я не один, — сказал я. — Но если бы ты имел представление о том, как прекрасно это создание, ты бы обзавидовался». С этими словами я с силой прижал свою руку, которой накрыл одеялом её голову, к месту, где предположительно находился рот, рискуя лишить её воздуха и в то же время предотвращая проявления каких-либо признаков жизни с её стороны.

Его взгляд жадно заскользил по округлостям на одеяле.

А потом произошло то самое ужасное, сумасбродное. Я схватил одеяло за нижний конец и откинул его до шеи — так что закрытой оставалась только её голова. «Ты когда-нибудь в жизни видел такую роскошь?» — спросил я его.

Его глаза широко раскрылись, но он явно смутился. «Да, да, надо сказать, у тебя хороший вкус, ну, я теперь пойду, извини, пожалуйста, что... что я тебе помешал». Произнося это, он отступал обратно к двери, а я, не торопясь, снова опустил одеяло. Затем я быстро вскочил на ноги и встал перед ним рядом с дверью так, чтобы он больше не мог видеть колготки, лежавшие на кресле.

«Я непременно приеду в Эбенхаузен дневным поездом, — сказал я, когда он уже собирался нажать на дверную ручку. — Может, вы меня подождёте там, в ресторане „У почты“. И вместе поедем в Аммерланд. Это будет замечательная поездка. Я очень благодарен тебе за приглашение».

Он сделал ещё несколько доброжелательных, шуточно-покровительственных замечаний, после чего вышел из комнаты. Я стоял как вкопанный до тех пор, пока его шаги не затихли у входной двери внизу.

Не хочу описывать то ужасное состояние, смесь ярости и отчаяния, в котором после этой сцены пребывала бедная Фанни. В полном смятении, она была полна ненависти и презрения — такой я её ещё никогда в жизни не видел. Поспешно одеваясь, она грозила плюнуть мне в лицо. Естественно, я отказался от любой попытки защищаться.

«Куда ты думаешь сейчас идти?»

«Я не знаю — купаться, домой, или же к Брюхманам — посмотреть, как дела у их самого младшего. Не знаю».

Около двух пополудни мы — Рёбель, Шлетер, мой друг и я — сидели вместе под тенистыми каштанами в ресторане «У почты» в Эбенхаузене и наслаждались жареной курицей и сочным, сверкающим на солнце салатом. Мой друг, за душевным состоянием которого я с опаской наблюдал, успокоил меня необыкновенно весёлым настроением, в котором он пребывал. Он бросал на меня шутливо выразительные взгляды и,

победоносно улыбаясь, потирал руки, не раскрывая, что наполняет его такой радостью. Поездка прошла без дальнейших помех, и около десяти часов вечера мы снова были в городе. Прибыв на вокзал, мы договорились пойти в пивной бар.

«Только позвольте мне, — сказал мой друг, — пойти сейчас домой и привести жену. Она весь этот замечательный день сидела с большим ребёнком и обидится, если мы оставим её вечером дома одну».

Вскоре он пришёл с ней на место встречи. Разговор вращался, конечно, вокруг совершённой нами поездки, непримечательность которой все участники старательно раздували до увлекательных приключений. Фанни была неразговорчива, растеряна и не удостоила меня ни одним взглядом. Он, напротив, демонстрировал своим покровительственным выражением лица ещё сильнее, чем во второй половине дня, ту же загадочную уверенность в победе. Его высокомерные торжествующие взгляды были адресованы теперь в основном не мне, а его супруге, рассеянno сидевшей рядом. Он испытывал какое-то внутреннее удовлетворение, которое привело его в сильный восторг, не иначе.

Лишь месяц спустя, когда я впервые снова оказался наедине с его молодой женой, эта загадка раскрылась. После того, как мне пришлось снова вытерпеть резкие обвинения, произошло поверхностное, потребовавшее больших усилий примирение, по завершению которого она доверительно рассказала, как её муж, когда они в тот вечер были дома одни, скрестив на груди руки, прочитал ей следующую лекцию: «Твоего любимого, сладкого мальчика, детка, я теперь тщательно изучил. Каждый день ты признаёшься мне, что любишь его, но при этом даже не догадываешься, как он насмехается над тобой. Сегодня утром я застал его дома; конечно, он был не один. Мне теперь стало совершенно ясно, почему он тобой не интересуется и с презрением отвергает твои чувства. Ведь его любимая — женщина с такой обольстительной, потрясающей внешностью, что ты со своими скудными увядающими прелестями не идёшь с ней ни в какое сравнение».

Таким, мои дорогие друзья, оказалось действие предохранительной прививки. Я описал его, чтобы вам не пришлось в голову прибегнуть к этому чудодейственному средству на практике. 

Rainer Maria Rilke

Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden,
in welchen meine Sinne sich vertiefen;
in ihnen hab ich, wie in alten Briefen,
mein täglich Leben schon gelebt gefunden
und wie Legende weit und überwunden.

Aus ihnen kommt mir Wissen, dass ich Raum
zu einem zweiten zeitlos breiten Leben habe.
Und manchmal bin ich wie der Baum,
der, reif und rauschend, über einem Grabe
den Traum erfüllt, den der vergangne Knabe
(um den sich seine warmen Wurzeln drängen)
verlor in Traurigkeiten und Gesängen.

Ende des Herbstes

Ich sehe seit einer Zeit,
wie alles sich verwandelt.
Etwas steht auf und handelt
und tötet und tut Leid.

Райнер Мария Рильке (*Rainer Maria Rilke*; 1875, Прага – 1926, Вальмонт). Один из крупнейших и наиболее влиятельных немецких поэтов, представитель течений неоромантизма и модернизма. Принадлежал к старинному аристократическому роду, имел австрийское подданство. В Праге изучал литературу, историю искусств и философию. Продолжил обучение в Берлине и Мюнхене. В 1899–90-х годах посетил Россию, где встречался с Львом Толстым. Первый поэтический сборник «Жизнь и песни» вышел в 1894 году. Кроме стихов написал несколько рассказов, роман, эссе и переводы, в том числе из Микеланджело и Петрарки. Во время Первой мировой войны жил в Швейцарии, затем длительное время во Франции. Был другом и личным секретарём Родена. Много путешествовал. Состоял в интенсивной переписке со многими философами, деятелями искусств и литераторами, в том числе с Мариной Цветаевой. Умер в Швейцарии от лейкемии.

Райнер Мария Рильке
Переводы: Ирина Иванова

Я тёмные часы души люблю,
когда все чувства глубоко зарыты,
и в них, как в письмах, мной давно забытых,
я словно через время вглубь смотрю,
читая жизнь пропешную свою.

Вдруг знание пришло, что я живу
вторую жизнь в безвременном пространстве,
и я, как дерево цветущее стою,
исполнив мальчика из прошлого мечту,
(и корни тёплые вокруг его теснятся)
который в прежней жизни затерялся
в печальном песнопевческом краю.

Конец осени

Я вижу с некоторых пор,
как в мире всё не постоянно:
за ясностью идут туманы,
за умиранием — укор.

Ирина Иванова (1960, Горький). По профессии юрист. Переводчик с французского и немецкого. Публикации в журналах «Новая Литература» и «Берлин.Берега». Живёт в Нижнем Новгороде.

Von Mal zu Mal sind all
die Gärten nicht dieselben;
von den gilbenden zu der gelben
langsamem Verfall:
wie war der Weg mir weit.

Jetzt bin ich bei den leeren
und schaue durch alle Alleen.
Fast bis zu den fernen Meeren
kann ich den ernsten schweren
verwehenden Himmel sehn.

Abend

Der Abend wechselt langsam die Gewänder,
die ihm ein Rand von alten Bäumen hält;
du schaust: und von dir scheiden sich die Länder,
ein himmelfahrendes und eins, das fällt;

und lassen dich, zu keinem ganz gehörend,
nicht ganz so dunkel wie das Haus, das schweigt,
nicht ganz so sicher Ewiges beschwörend
wie das, was Stern wird jede Nacht und steigt —

und lassen dir (unsäglich zu entwirrn)
dein Leben bang und riesenhaft und reifend,
so dass es, bald begrenzt und bald begreifend,
abwechselnd Stein in dir wird und Gestirn.

Herbsttag

Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.

И каждый раз меняются сады
от лёгкой желтизны до желтизны,
когда всё более отчётливо видны
распада постепенного следы,
и нет пути другого у судьбы.

Стою я в пустоте теперь,
смотря на мир сквозь голые аллеи,
почти до дальних берегов морей,
отвергнув, понимаю всё сильнее
всю мощь небес среди осенних дней.

Вечер

Медленно вечер меняет одежды,
сыпят деревья старой листвой;
видишь — мир делится на двое прежний:
падает первый, взлетает второй;

ты остаёшься идти одиноко
там, где светлее, чем в доме пустом,
милости просишь у вечности строгой,
чтобы звезда освещала путь твой —

и пусть тебя (немыслимо распутать)
путает жизнь и манит новизной,
душа, ошибаясь, доходит до сути,
становится то камнем, то звездой.

Осенний день

Господь, пора. Не мало длилось лето.
На солнечных часах оставь немую тень
и в коридоры пусти ветер до рассвета.

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin, und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?
Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?)
Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?)

Bin dein Gewand und dein Gewerbe,
mit mir verlierst du deinen Sinn.

Nach mir hast du kein Haus, darin
dich Worte, nah und warm, begrüßen.
Es fällt von deinen müden Füßen
die Samtsandale, die ich bin.

Dein großer Mantel lässt dich los.
Dein Blick, den ich mit meiner Wange
warm, wie mit einem Pfühl, empfange,
wird kommen, wird mich suchen, lange -
und legt beim Sonnenuntergange
sich fremden Steinen in den Schoß.

Was wirst du tun, Gott? Ich bin bange.

На фрукты спелые прощальный луч пролей;
дай им почувствовать ещё тепла блаженство,
создай труда земное совершенство
последней сладостью вина в осенний день.

Не строит больше тот, кто не имеет дома.
Кто одинок теперь, навеки будет лишний —
не спать, читать, писать большие письма
в смятении бродить аллеями безмолвно,
когда под ветром грустно кружат листья.

Что, Боже, сделаешь, когда мой мир прервётся?
Я — твой кувшин (который разобьётся?)
Я — твой напиток (что в момент свернётся?)

Я- твой наряд, творение под солнцем.
Ты смысл после меня утратишь.

Не встретит без меня уже тебя, создатель,
мой дом, куда ты каждый раз входил. Мой Бог,
не упадёт с твоих усталых ног
сандалия, которой был я кстати.

Сползло пальто большое с плеч твоих.
Твой взгляд, ловил всегда который,
когда щекой касался тёплой,
пойдёт искать меня надолго
и на закате, уйдя в горы,
он ляжет в каменные своды, колени преклонив.

Мне страшно. Что ты делать будешь, Боже?

Kindheit

Es wäre gut viel nachzudenken, um
von so Verlorenem etwas auszusagen,
von jenen langen Kindheit-Nachmittagen,
die so nie wiederkamen — und warum?

Noch mahnt es uns — vielleicht in einem Regnen,
aber wir wissen nicht mehr was das soll;
nie wieder war das Leben von Begegnen,
von Wiedersehn und Weitergehn so voll

wie damals, da uns nichts geschah als nur
was einem Ding geschieht und einem Tiere:
da lebten wir, wie Menschliches, das Ihre
und wurden bis zum Rande voll Figur.

Und wurden so vereinsamt wie ein Hirt
und so mit großen Fernen überladen
und wie von weit berufen und berührt
und langsam wie ein langer neuer Faden
in jene Bilder-Folgen eingeführt,
in welchen nun zu dauern uns verwirrt.

Детство

Как хорошо бы, подчинившись сну,
в фантазиях, что греют моё сердце,
увидеть вновь потерянный мир детства,
что канул безвозвратно- почему?

И он мелькнёт, быть может, под дождём,
но мы не помним, что это такое-
мир, полный встреч, когда чего-то ждём,
когда прошедшее ещё пока с тобою,

когда, казалось, ничего не происходит,
нас манит запах незатейливых вещей,
мы наслаждаемся обыденностью дней
и этим до краёв наполненные ходим.

Мы одиноки в детстве, как пастух,
что смотрит бесконечно в свои дали,
а кто-то издали движеньем точных рук
жмёт клавиши, мелодию играя,
а мы танцуем под неё на слух,
пока она свой не закончит круг.

Луиза Глик

Переводы: Слава Ковальский

Вязы (Elms)

Весь день я пыталась найти грань
между потребностью и желанием. А теперь, в темноте
мне грустно и горько за нас, строителей,
в попытках сгладить дерево рубанком.
Я долго смотрела на эти вязы и видела,
что процесс, создающий изгибы
крепкого дерева — это мука, и поняла,
что из него не выйдет никаких форм,
кроме вымученно-искривлённых.

Канун дня всех святых (All Hallows)

На глазах детали складываются в пейзаж.
Темнеют холмы. В упряжке быки
дремлют под синим привычным ярмом,
поля убраны до последней травинки,
снопы ровно связаны, стоят у дороги
среди желтой дубровки. Встаёт
острозубая луна:

Это бесплодная пустота
поля после жатвы или после чумы.
А жена высовывается из окна,
Тянет руку, словно протягивая плату.

Статью о Луизе Глик см. на стр. 158-161.

Слава Ковальский (1973, Владивосток). Переводчик. Окончил факультет английской филологии ДВГУ и магистратуру университета Калифорнии в Беркли. Участвовал в переводе с русского языка на английский ряда художественных текстов, статей, книги кинофильмов. С 2004 года живёт в Канаде.

В ладони виднеется семя, чётко вычерченное, золотое.
Кричит:
«Иди сюда,
Иди ко мне, малышка!»

И душа выползает из ветвей.

Полевой красный мак (The Red Poppy)

Лучше всего
когда у тебя
разума нет. Чувства?
Чувств у меня
хватает; они
правят мной. Есть у меня
и бог в небесах,
его зовут солнце. Я открываюсь
ему, распахивая пламя в своём сердце,
пламя, подобное лику его.
Ведь в чём сиянье славы,
как не в сердце? О братья и сёстры мои,
довелось ли вам быть как я,
до того, как вы стали людьми?
Давали ли вы себе
открыться однажды, вы, кто
закрылся навеки? Ибо по правде
я говорю как вы. Я говорю
потому, что меня разбили

Эрос (Eros)

Придвинула в номере кресло
к окну — смотреть на дождь.

Я как во сне, как в трансе —
влюблена, но
ничего не хочу.

Не вижу нужды прикасаться к тебе,
и незачем встречаться снова.

Хочется только:
в номере быть, чтобы волосы — так, и шум дождя,
падающего
час за часом в тёплой весенней ночи

И больше — ничего; я насытилась без остатка.
Моё сердце ужалось в размерах, и наполнить
его хватило совсем немного.
Я смотрела, как падает дождь
густой пеленой, слой за слоем,
над темнеющим городом...

Тебя это уже не касалось. Я делала то,
что делают при свете дня, и я вполне справлялась,
хоть и двигалась, как во сне

Этого было довольно, и к тебе больше не относилось.
Несколько дней в незнакомом городе.
Беседа, прикосновение руки.
А потом я сняла обручальное кольцо.

Этого мне и хотелось — наготы.

Итоги конкурса эссе к 250-летию Бетховена

В этом году отмечается дата, имеющая прямое отношение к Германии — 250-летие со дня рождения Людвиг ван Бетховена. Символично, что юбилей припёлся на 2020, год пандемии и резонансных политических событий. В такие непростые времена, когда всё сильно непредсказуемо и очень тревожно, нужна опора и константа, нужно то, что стабильно и постоянно, вневременно. Бетховен, его музыка и музыка как феномен в целом — внепандемийны. Они были, есть и будут, так же, как и воспоминания: истории, которые мы сами вписали в звуки — классики, попсы, рок-н-ролла, хип-хопа или даже в звонок будильника на телефоне.

Интересно, как зазвучит пандемия 2020 года для нас через десять лет. Мы же будем вспоминать те спасательные круги (в том числе и музыкальные), на которых выплыли, на которых продержались во время строгой изоляции и ограничений. На конкурс эссе о музыке участники и участницы прислали очень личные тексты, разные, но единые по сути: каждая человеческая жизнь переплетена с большой историей и музыкой: революция, послевоенное время, семидесятые, восьмидесятые, нулевые. Из суммы текстов получился краткий курс истории в музыкальных образах. И поначалу казалось, что само понятие «конкурс» неприменимо к текстам такого рода. Разве можно оценивать воспоминания про счастье и боль, радость и слёзы, восторг и страхи?.. Всё уникально, и в своей уникальности прекрасно.

Мы признательны всем участникам за открытые и искренние тексты. Отдельно благодарим за участие Ксению Марченко (Берлин). Призёрами стали Зинаида Стамблер (Киль) с невероятно воздушным, полным метафор и образов эссе о музыке, которую уже слышишь в утробе матери — и Сергей Страхов (также Киль) с эссе о молодости, любви, горах и немецкой группе «Чингисхан».

А победителем конкурса стала Нелли Шульман (Берлин) с эссе о тёплых добрых отношениях внучки и деда, которые питают и напитывают автора до сих пор: «Музыка плыла вдаль, обнимая меня, словно колыбель. Голоса и звуки сплетались в песню детства, в тот одинокий, призывный клич трубы».

Ирина Мурз, редактор рубрики «Критика и публицистика»

Нелли Шульман

Одинокий клич трубы

Медную шкатулку заводили фигурным ключом. Внутри что-то щёлкало, зубчики колёс цеплялись друг за друга. Изнутри поднималась невесомая картонная балерина. Розовый тюль юбки выплел, фигурка медленно кружилась. Бесплотная музыка порхала над шкатулкой, лёгкий снег сеял над Песками. В феврале семнадцатого года шкатулку купили в мелочной лавке на углу Греческого проспекта. Пережив две революции и три войны, она исправно шуршала свою песенку.

Сначала вокруг были именно песни. Мокрые лужи под ногами, синий вязаный шарф на шее, неправильные английские глаголы в голове. Тёплая рука деда размахивает моей ладошкой, он напевает себе под нос.

— Где эта улица, где этот дом, — дома облезлой постели тянутся унылой чередой, — где эта барышня, что я влюблён...

Мы останавливаемся у поворота, гремит жёлтый трамвай.

— Вот эта улица, вот этот дом, — дед указывает на напуганную арку, — вот эта барышня, что я влюблён, — он трётся носом о мою щеку, пахнет его обычным «Шипром». Шарф отчего-то кажется мне вуалью, я приосаниваюсь.

Мальчишкой дед зарабатывал карманные деньги, выступая в синемаатографах. В фойе непременно ставили расстроенный рояль. Он брэнчал фокстроты, пел частушки и романсы.

— Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный, пошёл по Невскому гулять, — мы идём именно по Невскому, — его поймали, арестовали и приказали расстрелять, — я знаю, кто такие советские, но ещё не слышала о кадетских.

Нелли Шульман (1972, Санкт-Петербург). Прозаик, преподаватель иностранных языков. Магистр юдаики (окончила *Leo Baeck College*, Лондон). Автор цикла исторических романов «Вельяминовы», в рамках которого уже вышло шесть книг. В Германии с 2017 года. Живёт в Берлине.

Дед задумчиво говорит:

— Дядя Сапша голосовал за кадетов, а мой отец был большевиком.

Мы проходим серый лед Мойки, дед смотрит вдаль.

— Цыплёнки тоже хотят жить, — он встряхивается, — например, поесть пышек, — мы заворачиваем налево, за лучшими в мире пышками и кофе из алюминиевого бака.

Утром дед обжаривал на сухой сковороде горсть зёрен и доставал деревянную ручную мельничку, помнящую родовую квартиру на Песках. Утром песни были другими:

— А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер, — звенел его высокий тенор, — весёлый ветер, весёлый ветер... — сырой мартовский ветер бил в форточку, по стеклу сползали потёки снега, но над жестяными крышами в разрывах туч проглядывало лазоревое небо весны.

За столом, выпив сто грамм, он любил завести старые страдания, как их называла бабушка. Я засыпала за стенкой, слушая знакомый голос. Мне ни разу не удалось продержаться до конца песни, и только подростком я узнала, что Ваня всё-таки не женился на Арине, а пошёл в Красную Армию.

— Если б были все как вы, ротозей, — дед усмехался, — что б осталось от Москвы, от Рассеи, — я задрёмывала под переключку гостей, под тонкий звон бокалов. Деда всегда просили спеть ещё. Он приносил старую гитару, пережившую войну:

— Мы летим, ковыляя, во мгле, — дед пристукивал по деке, — вся команда цела и машина пришла на честном слове и на одном крыле...

Меня словно купали в песнях. Бабушка выдавала мне аккуратно сшитый фартучек и подкладывала на табурет стопку томов из дореволюционного собрания сочинений Жюль Верна. Рассыпав по клеёнке гречку или пшено, бабушка подмигивала:

— Окрасился месяц багрянцем, — у неё был низкий, словно бархатный голос, — где волны бушуют у скал...

Я пищала:

— Поедем, красотка, кататься... — бабушка подхватывала: «Давно я тебя поджидал». Пальцы ловко перебирали крупу, мы пели на два голоса: «На муромской дорожке стояло три сосны...»

Музыка жила в звоне трамваев, в зелёном огоньке пузатой радиолы, в чёрных пластинках, таящихся в ярких конвертах. Игла опускалась вниз, я зачарованно следила за вертящимся кругом. Сначала из него вырывались знакомые мелодии, но однажды неожиданно грянули фанфары, раздался голос трубы. Я уже умела читать и сложила четыре буквы на конверте в короткое слово. Я ещё никогда не слышала такой музыки:

— Это опера, — сказала бабушка, — но ты ещё маленькая, давай я поставлю сказку, — я помотала головой: «Нет».

На пластинке тосковал женский голос, звуки волшебного сливались, но я могла разобрать каждую партию. Я выучила их имена наизусть. Контрабас казался мне надменным, виолончель была его женой, а скрипки и альты — их детьми. Гобой и тромбон ухаживали за кокеткой флейтой, барабан был толстым шумным дядюшкой. Арфа держалась обособленно, стоя на краю оркестра.

Над ними чёрным парусом взметнулось крыло рояля, а дирижёр, словно капитан, палочкой управлял кораблём.

Музыка плыла вдаль, обнимая меня, словно колыбель. Голоса и звуки сплетались в песню детства, в тот одинокий, призывный клич трубы. 

Сергей Страхов

Музыка навсегда

Всему, что спустя годы хочется вспоминать, сопутствует музыка. Пусть даже вокруг полная тишина, но ты слышишь эту ни с чем не сравнимую музыку памяти. Она пробуждается в подсознании, где будто отряд в засаде, до поры стараясь не шуметь, скрывается маленький оркестр. И потом, ослепляя блеском готовых к бою инструментов, стремительно врывается в сердце.

У всякой музыки есть автор. Овеянный славой, сошедший с портрета классик, лохматый фронтмен культовой рок-группы, старый лирник на рыночной площади, романтический бард в прожжённой у костра брезентовой штормовке... У любой музыки есть обстоятельства, при которых она услышана. И всегда найдётся кто-то, с кем тебе довелось разделить это таинство — вместе пережить музыку.

И вот мне вспомнилось... Хотя, впрочем, и не забывалось никогда. Сорок лет тому назад. Северный Кавказ. Стиснутый со всех сторон молчаливыми, даже где-то заносчивыми вершинами в белоснежных папах, городок Теберда. Тысячи метров снежной сказки, кое-где пронизанной шумными стрелами водопадов... Речка, валуны, ели, рюкзаки — турбаза «Азгек». И Она. Мы прибыли из разных городов и лишь недавно познакомились. Все-союзный маршрут номер сорок три, Военно-Сухумская дорога. Хотя дорогой её можно было назвать не всюду, в самых интересных её местах — лишь узенькая, извилистая, тропа для ослов и приравниваемых к ним туристов. Нас ждали всего три дня в Теберде, потом — на перевал. Но всего три дня в Её обществе — время, которое хочется растянуть, как меха аккордеона. Жаль, не умею играть на этом инструменте, но растягивать время, наслаждаясь каждой секундой, иногда получается. Разумеется, если это время хочется растянуть, а не проскочить его поскорее, зажмурившись.

В те времена Теберда славилась своими «шерстяными базарами», где умелицы-горянки продавали пушистые свитера и кофты из шерсти горных коз. И эти полезные и красивые сувениры, а тогда ещё никто не догадывался украшать холодильник магнитиками дальних странствий, развозились многочисленными туристами по всему Союзу и странам «народной демократии». Мы с Ней вдвоём, рука в руке, направились на такой базарчик у подножия одной из величественных гор. Обзаведясь вождеденными шерстяными обновками, уже было собралось возвращаться на турбазу, но тут я заметил местного жителя, торговавшего магнитофонными бобинами. Напомню, дело было в глубоком «палеолите», даже кассеты ещё были в диковинку. Среди записей звёзд эстрады, немногих рок- и диско-групп, в основном, отечественных — ибо до повальной моды на итальянцев оставалось ещё года два — ВИА, я обратил внимание на бобину под звучным названием «Чингис-Хан». Эта западногерманская группа появилась совсем недавно, я о ней что-то слышал, но и только. А вечером на турбазе предстояли коллективные посиделки с танцами — отчего, думаю, не взять кассету с новинкой по такому случаю и не усадить слух моей спутницы. Она как раз любовалась пейзажем и не заметила, как я отошёл к торговцу мелодиями. Взял горец с меня за «татаро-монголов» по тем временам бешеные деньги — восемь рублей, что ли. Ну да ладно, если учесть, кого я хотел побаловать этой новинкой европейского диско.

Вечером в клубе турбазы я подошёл к тамошнему диск-жокею, попросил поставить моего «Чингис-Хана» и уверенной походкой направился к той, кроме которой для меня уже несколько дней никого не существовало. Внезапно «Москау» Ральфа Зигеля взорвалась и накрыла полутёмный зал. Неприличные немецкие слова, не слыханные в этих краях, пожалуй, со времён дивизии «Эдельвейс», когда-то разбитой здесь неподалёку, прибавляли уникальности моменту. В пляс пустились все, даже те, кто раньше не танцевал — берёт ноги для предстоящего восхождения. И я протанцевал с Ней, только с Ней, глядя Ей прямо в глаза все двенадцать композиций этого альбома, зажигательно быстрых и обволакивающе медленных,

уместившихся на полукилометре магнитной ленты редкостной заморской бобины. Признаюсь, я был совершенно влюблён ещё до этого вечера. И выбор музыки вряд ли мог повлиять на две наши жизни, вскоре слившиеся в одну. Но я признателен и этой группе, и этой музыке... за пронзительную, ни с чем не сравнимую радость воспоминания. Как важны и дороги кадры человеческой памяти — эти разноцветные камушки на ладони, звуки дорогой музыки, которые можно бережно перебирать в своей душе всю жизнь.

И пусть моего «Чингис-Хана» в тот же вечер спёр ушлый тебердинский диск-жокей, подсунув в чингисхановский футляр бобину с какой-то скучной чешской эстрадой... Об этом я узнал только за полторы тысячи километров к северо-западу от волшебной долины, но даже не огорчился. Соединившая нас музыка уже впечаталась надёжнее любой ферритовой ленты в общую память двух любящих людей — и осталась навсегда.

И потом снова была музыка. Скрипичная — векового слежавшегося снега на узкой тропе, ведущей на Клухорский перевал. Гитарная — меланхолические переборы струн в сопровождении треска дров костра на привалах. Завораживающая своей монотонностью кода горной речки в Кодорском ущелье — по её каменистому берегу ноги из последних сил несли нас к морю, к морю... Бравурная перкуссия черноморского прибоя, которую мы, затаив дыхание, слушали вдвоём на ночном сухумском берегу. Пульсирующий в ухе зуммер междугороднего вызова, а затем долгожданный ноктюрн Её голоса. Несколько мгновений неперменного до банальности Мендельсона. А затем тридцать шесть лет негромкой музыки счастья. 

Зинаида Стамблер

Метроном вечности, или „Одной любви музыка“

Вначале был ритм.

Словно летучее стаккато полевых колокольчиков под солнечным ветром, крепнущее хрустальными переливами серебряных бубенцов, разрывающее горячую темноту сочным малиновым звоном. Или как первые робкие капли дождя, переходящие в крещендо грозового майского ливня.

Самое *дорогое* со *времени До*, когда и времени-то никакого ещё не было и не могло быть — биение материнского сердца, мерное движение её крови снаружи и внутри. До рождения. До ощущения. До цвета. До образа. До формы. До звука. До мелодии. До слова. Маметроном моей человечности.

Я полюбила постепенно их всех. С первых нот и навсегда. И люблю и буду любить их всех одновременно. Самозабвенно, ревниво и мучительно. Моё детское чувство зрело и наливалось мощью вместе со мною. Йозеф, Иоганн Себастьян, Вольфганг, Людвиг, Фредерик, Ференц, Франц, Феликс, Роберт, Кристоф, Георг, Джоаккино, Винченцо, Джузеппе, Антонио, Доменико, Эннио, Карл, Вильгельм, Морис, Никколо, Жан-Батист, Жан-Филипп, Жюль, Шарль, Жорж, Камиль, Луи-Эктор, Рихард, Арам, Пётр, Михаил, Сергей, Милий, Александр, Модест, Николай, Игорь...

Решение научиться читать нотные тексты пришло довольно рано. Ну а как ещё я смогла бы общаться со всеми своими возлюбленными во всех **мирах** и пространствах? И мнилось мне, воспринимая, разучивая, запоминая, играя или просто лаская глазами духа ту или иную строку, фразу любимой пьесы, этюда, сонаты, вальса, прелюдии... пробегая и замирая пальцами

Зинаида Стамблер (1962, Ташкент). Филолог, преподаватель. Работала типографским корректором, литературным редактором. Публикации в журнале «*FederKiel*. Писчее перо» (2011-2012), «Берлин.Берега» (2019). С повестью «От Парижа до Парижа» входила в длинный список конкурса «Заветная мечта» (2009). Жила в Эстонии. В Германии с 1998 года. Живёт в Киле.

на инструменте, каждый исполнитель в меру своего усердия, умения, чувственности и одарённости воплощает свою любовь, служит своей любви, мистически с нею соединяется. Не отделяя творения от творца, я переживала музыку как бесконечно расширяющуюся вселенную нежности, как звёздную страсть к её создателям, как трепетную жажду взаимности.

Звуковыми волнами меня буквально выбрасывало из реальности то в поющие небеса, то в океаны звуков. Лишь на высоте музыки я находила неиссякаемый источник вдохновения, лишь в её глубинах — надёжное пристанище, воплощение мечты, ответы на сокровенные вопросы, самые волнующие впечатления, самые прекрасные уроки, самые захватывающие открытия. Фантазии и видения сменяли друг друга. Всё, что не выдерживало проверки музыкой, уносил солёный ветер. Музыка стала главным сюжетом судьбы. И когда со мною происходит нечто, взрывающее горечью диссонанса, я лечу себя безусловной гармонией и божественным ладом музыки. Я лечу... в гармонии музыки. Её не разрушает даже **соль** одиночества.

Завораживающая полифония жизни. Уникальная, когда-то рождённая вместе со мною тема переходит всё дальше и дальше, возвращаясь ко мне исполненной новых сияющих смыслов, обогащённой новым звучанием, отражённой, преображённой... И вот уже я подхватываю её в радужном небе, в шелесте книжных страниц, в раскатах грома, в кошачьем мурчании, в человеческом молчании, в созвучных мыслях, идеях, поступках, в детях, в детях детей...

Морская капля, высыхая на коже, едва слышно закипает мною. Как и песок далёкого берега мною поскрипывает на зубах. Как и все на свете поцелуй и объятия, как и самый радостный смех, и всё не сказанное... и всё несказанное. А я лечу и лечу... стремясь достигнуть в звучании полёта космической **силы** и земной сладости.

Мои дороги — минорная и мажорная — бесконечно переплетаются. Обе ведут в одну любовь, а значит, из музыки в музыку... И ритм, божественный ритм материнского сердца, как и во *времени До*, отзывается во мне на каждый солнечный, дождливый, снежный, туманный миг до боли прекрасной мелодией надежды и веры в счастье. 

Д-р Ольга Половинкина

Новый тип актуальности — из глубины частного опыта

О нобелевском лауреате Луизе Глик

Луиза Элизабет Глик родилась в 1943 году в Нью-Йорке. В семье её матери, урожденной Беатрис Кросби, были евреи, эмигрировавшие из России. Беатрис посвятила свою жизнь семье, при том, что получила образование в частном женском колледже Уэсли, штат Массачусетс, известном блестящими карьерами своих выпускниц, среди которых, например, Хилари Клинтон. Отец, Дэниел Глик, происходил из семьи венгерских евреев, переехавших в США перед его появлением на свет. В юности он мечтал быть писателем, но добился успеха на поприще более прозаическом, занимаясь производством и продажей ножей для мелких работ, изобретенных его родственником и партнером по бизнесу. Глики читали дочерям на ночь древнегреческие мифы, и с ранних лет Луиза была зачарована фигурами богов и героев. В пятилетнем возрасте она написала свои первые стихи, а подростком уже знала, что будет поэтом.

Из-за тяжелой анорексии Луиза Глик вынуждена была отказаться от мысли получить образование традиционным путем. Официально она не окончила высшего учебного заведения, хотя изучала поэзию сначала в частном колледже Сары Лоуренс в Нью-Йорке, потом, в 1963-1966 годах, в Колумбийском университете, где преподавали почитаемые Глик американские поэты Леони Адамс и Стэнли Кьюниц. Уже в 1968 году она

Стихи Луизы Глик см. на стр. 146-148.

Ольга Половинкина (1964, Неман, Калининградская обл.). Доктор филологических наук, профессор РГТУ. Докторская диссертация на тему «Метафизическая поэзия в американской литературной традиции». Сфера научных интересов: компаративные исследования, история английской и американской поэзии, модернизм и её влияние на литературу. Автор нескольких книг и десятков публикаций, в том числе в коллективных трудах. Член редколлегии журнала «Вопросы литературы». Живёт в Москве.

опубликовала свою первую поэтическую книгу «Первенец» (*Firstborn*). Несколькими годами позже Глик начала преподавать поэзию в Годдард-колледже, штат Вермонт. Педагогическая деятельность стала для неё одним из основных занятий. Глик преподавала англоязычную литературу в Уильямс-колледже, штат Массачусетс, занималась делами основанного её первым мужем кулинарного колледжа в Вермонте и сегодня преподаёт литературу в Йельском университете. В интервью Данае Левин, тоже американскому поэту, которое она дала в 2009 году, Глик говорила, что работа с молодыми авторами всегда была для неё источником вдохновения и свежих идей: «Я очень остро ощущаю, что всегда оставалась живой в качестве поэта и менялась как поэт ровно в той степени, в какой погружалась в иногда совершенно мне чуждую работу молодых людей, которые издают звуки, никогда мною прежде не слышанные». Десять предисловий к первым книгам молодых авторов (опубликованы в книге эссе «Самобытность американцев», 2017) составляет заметную часть её критического наследия.

Всего Луизой Глик издано 16 поэтических книг, в том числе поэма в шести частях под названием «Октябрь», посвященная событиям 11 сентября 2001 года. Из великих американских поэтов её ставят рядом с Эмили Дикинсон и Сильвией Плат. Подобно им, Глик пишет об утратах, разочарованиях, одиночестве, ощущении собственной смертности, о ней часто говорят как о «безжалостном» поэте. Среди современных американских поэтов её выделяет нечувствительность к трендам, отсутствие в её поэзии актуальной «повестки дня». Глик невозможно определить как еврейско-американского поэта или, например, феминистского поэта, и, соответственно, к ней невозможно применить критерии оценки, связанные с идентификацией политической позиции, столь популярные в сегодняшней американской критике.

Глик завоевала репутацию поэта, сосредоточенного на переживаемых состояниях, сокровенных мгновениях внутренней жизни, которые фиксируются в её скупом стихе. Председатель Нобелевского комитета Андерс Олсон, объявляя о принятом решении, говорил о «минимализме» её поэтического голоса и

о том, что её поэзия добирается до самой сути семейных отношений. Её поэтические книги часто ассоциируют с событиями её жизни: крушением любви, разводами, пожаром, в 1980 году уничтожившим всё имущество и т. д. В известной степени это справедливо, Глик не раз говорила, что поэзия для неё — способ извлекать смысл из утрат и переживаемой боли. Результатом стала несентиментальная, аскетичная поэзия, написанная на сентиментальном материале, лирическое высказывание «из центра самой себя» (выражение писательницы Венди Лессер), дистанцированное от «я» говорящего. Исследователь поэзии Хелен Вендлер объясняет этот эффект так: поэзия Глик «требует нашего участия: мы должны в каждом случае дополнять рассказываемое, подставлять себя на место выдуманных персонажей, изобретать сценарий, исходя из которого, говорящий в стихотворении сможет произносить свои строки...»

Вот, например, пронзительный образ одиночества как состояния всей человеческой жизни в первой части стихотворения «Рассвет» (*Dawn*, 2008). Ребёнок просыпается в тёмной комнате и громко просит назад свою уточку, его лепет не понимают, в кроватку кладут белую пушистую собачку, *dog* вместо *duck*. Годы идут, и «никто не знает, что приключилось с уткой»:

Child waking up in a dark room
screaming I want my duck back, I want my duck back

in a language nobody understands in the least —

There is no duck.

But the dog, all upholstered in white plush —
the dog is right there in the crib next to him.

Years and years — that's how much time passes.
All in a dream. But the duck —
no one knows what happened to that.

В своих стихотворениях Глик сохраняет ритм разговорной речи, но её свободный стих прост только на первый взгляд, в действительности у этой поэзии тонкая, тщательно продуманная организация, меняющаяся от книги к книге. По этому поводу Дана Левин цитирует своего студента: «Входная плата для стихотворения Луизы Глик всего доллар, но уж если вы вошли, всё оказывается очень сложным». Это ощущение внутренней сложности текста очень важно для поэта. В интервью Левин она говорила: «Когда я слышу, что у меня много читателей, то думаю: „Боже мой, вот-вот превращусь в Лонгфелло¹: легко понимать, всем нравится, разбавленный водой опыт, доступный многим“. А я не хочу быть Лонгфелло».

Поэзия Глик получила такое признание, какое редко выпадает поэтам при жизни. Ею были завоеваны практически все основные литературные премии США, в том числе Пулитцеровская (1993) и Боллингенская премии (2001). С 2003 по 2004 год Глик была поэтом-лауреатом, иначе говоря, официально признана поэтическим голосом нации.

Широко распространено мнение, что Нобелевская комитет, присудивший Луизе Глик премию «за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным», исходил из чисто литературных достоинств её поэзии. Хотя Глик высказала понятное для американского читателя удивление, что лауреатом стала «белая американка, автор лирической поэзии», само по себе избрание женщины — своего рода политический жест в современном мире. Глик первая женщина-поэт, получившая премию с 1996 года, когда лауреатом стала Вислава Шимборская, и в целом за более чем столетнюю историю премии всего шестнадцатая женщина. Актуальность, несомненно, была критерием выбора и с другой точки зрения. По общему мнению, Луиза Глик — поэт, говорящий из глубин частного бытия, что во времена самоизоляции, замыкания в пределах частной жизни вызывает особенный интерес. 

¹ Генри Уодсворт Лонгфелло (1807–1882) — американский поэт и переводчик (прим. ред.).

Нарративы будущего в современной немецкой прозе

Книгообзор Ирины Мург

Как показывает пандемия, планировать, контролировать, определять что-либо на данный момент мы не можем — ни в настоящем, ни в будущем. Поэтому остановимся лишь на предчувствовании, предвидении, предвосхищении. Какие темы станут актуальными, какой пласт воспоминаний поднимут в своих произведениях наши авторы, как они «переварят» стихами, прозой и публицистикой уже легендарный локдаун?

Мы пытаемся визуализировать будущее не только в контексте редакционной работы — долгосрочно, но и для себя лично, в относительно новой пандемийной системе координат — краткосрочно: когда полетим, когда увидим родственников не через экран, когда сможем путешествовать без обязательного карантина, пойдём ли вообще в театр?

В связи с таким внутренним устойчивым запросом на будущее, мне представилось интересным обратиться к художественному вымыслу, а именно, к современной немецкой прозе последних лет и узнать, каким образом будущее видят и прогнозируют немецкие прозаики.

Научная фантастика, по крайней мере, в Германии, давно отошла от исключительной жанровости — приземлённости, сводящейся к клишированным шаблонным сюжетам. В этом литературном блоке произошёл явный сдвиг к реальности. Стало актуально писать о тех изменениях, которые нас ожидают или которые уже начались и меняют нашу жизнь сейчас. Всё чаще и чаще авторы используют фантастический сюжет лишь в качестве

Ирина Мург (1981, Таганрог). Лингвист, кандидат педагогических наук, преподаватель английского и русского языков, переводчик. Член редколлегии журнала «Берлин.Берега». Выпускница литературной мастерской *Creative Writing School* Майи Кучерской и Марины Степновой (мастер-рецензент — Дмитрий Данилов и Ася Датнова). В Германии с 2015 года. Живёт в Мюнхене.

формы, а по сути ищут ответы на вопросы, злободневные, наболевшие. Через экстраполяцию картинки сегодняшнего дня на будущее, её гиперболическое преувеличение через лупу авторского видения мы пристально, настороженно разглядываем «сейчас» и «теперь». Книжки о будущем — это авторская рефлексия страхов сегодняшнего дня о грядущем. Это снова и снова попытка найти человека в человеке.

Дистопия (антиутопия) на фоне полного погружения в цифровые технологии или же протестного отказа от них, климатические катастрофы, стремление к сверхкомфорту и страх потерять человеческое под натиском машинного — драматические узлы романов о будущем затягиваются концептуально, становясь ценным материалом не только для литературных критиков, но и социологов, философов, антропологов.

За последние два года в Германии было опубликовано по меньшей мере двадцать романов этой жанровой направленности. Не все они признаны прекрасными литературными текстами, но, тем не менее, бесконечно важны в понимании самоощущения человека в настоящем и будущем.

Эмма Браславская (*Emma Braslavsky*) написала роман об одиночестве — преимущественно мужчин метрополии — «Ночь бледна, огни мерцают» (*Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten*, 2019). Со слов, которые мы видим в названии, как правило, начинаются детективы. Да и сюжет, на первый взгляд, классика научной фантастики. А по сути в него проваливаешься, как в колодезь, и погружаешься в вопросы далеко не детективного порядка.

Действие романа разыгрывается примерно в 2065 в Берлине, в районах Кройцберг и Нойкельн, причём названия улиц, станций метро и прочей топографии не отличаются от сегодняшних. Здесь Берлин светится неоновым голубым и грейпфрутовым розовым. Кройцберг танцует до утра, причём отплясывают все — и люди, и роботы. Любой житель Берлина может заказать гуманоида, чья преимущественно женская внешность и «сценарий» поведения подобран под его индивидуальные предпочтения: чистая квартира и вкусная еда, внешняя привлекательность и сексуальность. Это ли не решает проблему одиночества?

Но пятьдесят самоубийц-одиночек в день — это средняя статистика по городу. И государство уже не может оплачивать экспоненциально растущие расходы на их захоронение. Для расследования и протоколирования самоубийств, а также поиска родственников разрабатывается новая самообучающаяся модель — робот Роберта. Если она не справится с поставленной задачей, её разрежут на части и соберут другую машину, помощника по хозяйству. Но этого экзистенциального шпагата автору не достаточно. Она выходит на другую плоскость — самопознание искусственного интеллекта. Почти вся история романа рассказана от лица вычислительной единицы. Благодаря этой перспективе читатель может прожить и прочувствовать на себе её самовосприятие, видение других. Робот размышляет о том, что отличает человека от конфигурированной и спрограммированной машины, сталкивается с дискриминацией, сексуальным насилием. Она не может понять гендерного парадокса в мире людей: женщины благодаря своей способности к деторождению являются от природы более сильными, но при этом демонстрируют своё превосходство только с помощью эротических сигналов. Разве не они являются капитанами на гигантском корабле Человечества и единственные по праву могут претендовать на звание настоящего пола? А мужчины наоборот создают значимость и транслируют власть искусственно. Это они изобрели собственную систему контроля, религию, цивилизацию и вместе с этим патриархат и «мужскую силу», ту, которую «Мать Природа» им не подарила.

Тот факт, что машины в принципе не способны к такого рода саморефлексии, 49-летняя Браславская успешно использует в романе. Проникаясь в мир и чувства робота-детектива, которая завидует нам, всему человеческому и немашинному, что у нас есть, мы смотрим на себя в определённой степени со стороны. Иногда эта дистанция просто необходима для осознания того, что же может быть потеряно.

Роберта постоянно сталкивается с женщиной, которая точь-в-точь похожа на неё. Ей, как вычислительной машине, ясно не только то, что она есть Повтор, Имитация, Копия, но также и то, что для неё не существует срока жизни, но такое бессмертие её не очаровывает, а лишь пугает.

Роман Браславской критики рассматривают как предупреждение. Автор говорит об опасности, которая исходит не столько от машин, сколько от людей. Они уверены, что будущее за ними, и заключается оно в отказе от всей чувственной-анималистической-животной уязвимости. Кто хочет оптимизировать человеческую жизнь путём отказа от всего человеческого, рискует человека не улучшить, а совсем потерять. Ещё один лейтмотив романа — тема ответственности за свою жизнь, чувства, мысли. Когда мы перекладываем её на другого, к примеру, робота, который должен со стопроцентным попаданием удовлетворять наши желания и потребности, это ведёт к катастрофе.

Отказываться ли от человеческого, слабого, непредсказуемого, интуитивного в пользу машинного радио или нет — на этот вопрос ищет ответ в своём дебютном романе «Тинг» (*Das Ting*, 2019) и 37-летний Артур Дзюк (*Artur Dziuk*). Действие романа также происходит на улицах современного и узнаваемого Берлина. Молодыми программистами разработано приложение — «Тинг» (название восходит к древнескандинавскому, древнегерманскому слову, обозначающему народное собрание из свободных мужчин страны). Оно подключается к телу пользователя с помощью датчиков, которые собирают информацию о частоте сердцебиения, об уровне гормонов, о температуре тела. «Тинг» также реагирует на окружающую среду, распознает других людей и сравнивает приходящую информацию извне с имеющимися данными онлайн. Исходя из них, приложение даёт рекомендации, каким образом пользователю нужно себя вести или к какому прийти решению в сложной ситуации. Это самообучающаяся навигационная система по жизни. По мере развития сюжета её стиль коммуникации с пользователем постепенно меняется. Безобидные рекомендации: «установлена повышенная степень потоотделения — примите душ», «лёгкая недостаточность железа — повысьте потребление мяса», «недостаток воды — выпейте жидкость» переходят в настойчивые требования — «необходимо прервать обучение в аспирантуре», «нужно расстаться с подругой». Это логично и целесообразно с точки зрения системы, которой необходимо абсолютное владение временем разработчиков для наращивания своей цифровой мощи.

Вопрос об ответственности за свою жизнь появляется и в этом тексте. И главный герой решает его не в свою пользу. К концу романа, когда приложение уже часть сознания, когда человеческое и машинное сливается воедино, становится до пугающего очевидно, как это бесперспективно и безнадежно.

Немецкие критики не комплиментарно отзывались о литературном качестве книги. Но автору удалось в метафорической форме описать современные механизмы взаимодействия человека и смартфона, когда постепенно стираются границы и начинаешь забывать, кто к кому является приложением — человек к цифре или цифра к человеку. Кто несёт ответственность — ещё «я» или уже «он».

Другой роман из поджанра *Cli-Fi* (от английского *Climate Fiction*), научной фантастики о климатических катастрофах, продолжает тему ответственности в несколько другом ключе. В романе «Чистейшие» (*Die Reinsten*, 2019) Торе Ханзен (*Thore Hansen*) погружает нас в 2191 год, соединяя два способа визуализации будущего: искусственный интеллект и климатическую катастрофу. В мире после экологического коллапса власть принадлежит «милому Левиафану», суперкомпьютеру по имени Аскит, он отвечает за регенерацию планеты, и в этом ему помогает элита общества, технически развитые и эмоционально отрешённые учёные — «чистейшие», сумевшие избавиться от обременительных человеческих чувств, от любви и гнева. Это продолжается ровно до тех пор, пока они не обнаруживают сбой в системе.

В этом романе 51-летний Ханзен размышляет над тем, что будет, если люди безусловно и безгранично поверят в способность искусственного интеллекта сберечь нашу планету. Что будет, если они позволят ему принимать даже некомфортные решения. Например, контролировать рождаемость или распределять ресурсы и жизненные пространства. Чьё решение о запрете пинцеля или полётов будет легче принять: то, что исходит от машины или же людей — политиков, активистов, простых граждан?

Если перед вычислительной супермашиной поставлена цель спасти планету, означает ли это автоматическое спасение вместе с ней и человечества? Как показывает автор в романе, это вовсе не обязательно.

В сюрреальном, сложноструктурном романе «Майями Панк» (*Miami Punk*, 2019), написанном в духе психоделического панка, автор Хуан Гузе (*Juan Guse*) также останавливается на апокалиптическом сценарии, но при этом доводит его до абсурда: вопреки всем законам физики и прогнозам по изменению климата, Атлантика не затопила побережье Америки, а наоборот за одну ночь отступила и превратила целый регион между Флоридой и Багамскими островами в пустыню. Вместе с океаном исчезает из Майями и экономика. Кризисные лайнеры ржавеют в песках, отели пустуют, работа порта заморожена. Все, кто мог, переехал на север, в Алабаму или Луизиану. Никто не знает, где правда и кому можно доверять — правительству, зловещему концерну по биотехнологиям «Новак», военной группировке «Майями Панк», частным отрядам милиции, которые вынуждены отражать атаки аллигаторов. В этом постапокалиптическом хаосе можно положиться только на одно: если закажешь пиццу у Хосе Пепперони, её доставят через 25 минут.

Сюжет в 630-страничном романе не идёт вперёд, не движется, не развивается, а скорее — по образцу многих комплексных видеоигр — разветвляется в бесконечное. Снова и снова во взаимосвязанных повествовательных линиях неожиданно открываются тайные ходы и ловушки, пропасти и тёмные подводные течения, ледники и сюрреальные искажения.

В романе текстовая форма и рассказчик меняются каждые пять минут: протокол допроса и записки путешественника, детские рассказы и тосты на праздниках-торжествах, фрагменты диссертации по социологии. Во время чтения чувствуется, как будто читатель прорывается через груды документов, сохранившиеся в подвалах после землетрясения.

Главная героиня по имени Робин пишет компьютерные игры, например, «Уничтожь и управляй»: в ходе игры американский военный лётчик защищает богатый на ресурсы Северный полюс от советских бомбардировщиков, но игра не заканчивается на завершении миссии, вместо этого начинается бюрократия, и она уже происходит в офисах управления военной авиации штата Невада; теперь нужно задокументировать все повреждения для страховых выплат, отправить соболезнования

родственникам погибших лётчиков. Когда черед этих крайне скучных офисных дел заканчивается, игрок возвращается на первую фазу, и ему, пилоту, снова нужно лететь на Северный полюс. И выхода из этой двухфазной компьютерной реальности нет. Игрок пойман в бесконечно повторяющемся цикле — он уничтожает и управляет.

Ещё ребёнком Робин постигла суть цифрового мира: она сидела в кресле симулятора полётов и направляла самолёт вверх, обуреваемая желанием понять, где же находится конец цифрового мира. Разработчики же понятие границы и конечности в программу симулятивного полёта не включили, и лететь вверх она могла до бесконечности. И осознание безграничности цифрового мира и конечности мира реального — лейтмотив не только её жизни, но и всего романа. Этот роман — жёсткий анализ общества в двадцать первом веке, отчаявшемся, мрачном, загоняющем своих граждан в цифровые пространства. Нарратив о будущем — это всего лишь контекстные рамки, формальный мазок в общую сумасшедшую фигуру сюжета. Город Майями — то, как автор видит наше настоящее. И он не работает в жанре фантастики, а скорее полностью погружён в пессимизм по поводу цивилизации в целом.

Роман «Страна Сервера» (*Serverland*, 2018) 32-летней Джозефины Рикс (*Josefine Rieks*) — это тоже авторская рефлексия о том, как мы живём, попытка посмотреть на современную жизнь из будущего. Автор успешно играет с поколенческим ярлыком «цифровые аборигены» (*digital natives*) и представляет нам мир в будущем без интернета, и как следствие — без фейсбука, ютуба, амазона, ватсаппа... Цифровая эра вытеснена и подпадает под табу. Разве эта авансцена романа — не звонкая пощечина современному образу жизни?

Действие происходит в эпоху после «компьютерной культуры», то есть после того времени, в котором мы сейчас живём. Старая вычислительная техника собирается и продаётся на блошиных рынках. Люди снова пишут ручками и карандашами, ходят по местности с бумажными картами в руках, читают печатные газеты, пользуются монетными телефонами.

Главные герои романа случайно обнаруживают сервер с миллиардами данных из прошлого, из жизни родителей, и начинают путешествие к единомышленникам в бывший офис «Гугла» — в Амстердам.

В романе Рикс мешает жанры, но при этом не заигрывает с литературным экспериментом как таковым. Она вводит в повествование элементы дистопии и дорожного путешествия, оформляет с их помощью действие с крайне оригинальной временной структурой. «Страна сервера» — это ретровзгляд из будущего на собственное поколение, в котором автор признаётся: наше настоящее — лучшее из всех возможных времён и миров.

В бывшей серверной «Гугла» молодые люди из Европы и Америки организуют коммуну. Они смотрят видео из *YouTube*, восхищаются принципом открытого программного обеспечения и идеалами прошлого, мечтают о свободе слова — той, которой была во времена их родителей. Видеоролики из прошлого записывают на диски и высылают по почте на любые адреса — своеобразный аналог интернета в будущем.

Между строк автор спрашивает современного читателя: что мы будем делать, если наши личные архивы на серверах (фото, посты, видеофайлы, музыка), всё, что мы считаем своей собственностью, но при этом не знаем, где она находится, вдруг станут недоступны, неизвлекаемы из сети? Взлом серверной офиса «Гугла» рассказчица сравнивает с чувством исследователя, который переступает порог александрийской библиотеки. Автору удаётся спроецировать тоску по аналоговому бытию своего поколения на маловероятное будущее, тоску как проигранную битву против цифрового мира.

Нарративы будущего — это истории сегодняшнего дня, очень часто докрученные авторами до абсурда и порой даже до карикатуры. Поскольку именно такой фон позволяет выпукло и емко говорить об универсально человеческом.

Ольга Грязнова в книге «2029 — рассказы о завтрашнем дне» (2029 — *Geschichten von morgen*, 2019) придумывает диктатуру здорового образа жизни в районе *Neu-Berlin*: все, кто не стерилизован, не веган и уже не молод, отправляются в район *Alt-Brandenburg*. В романе «События во время чемпионата» (*Geschehnisse*

während der Weltmeisterschaft, 2018) Гельмут Крауссер (*Helmut Krausser*) проводит за колючей проволокой и под возмущённые крики праворадикалов, исламистов и прочих фанатиков мировой чемпионат по соревновательному сексу.

Мальдивские острова уходят под воду, и в то время, как туристы бегут из этого открыточного рая, в столицу Мале съезжаются аутсайдеры, изгои, утописты, бродят по затопленным улицам, в страхе и в эйфории ищут новые смыслы и формы солидарности — вот что происходит в книге «Мале» (*Malé*, 2020) Романа Эрлиха (*Roman Ebrlich*). В романе Лауры Лихтблау (*Laura Lichtblau*) «Чёрный порошок» (*Schwarzpulver*, 2020) Германия превращается в тоталитарное реакционное государство, нетерпимое к любым формам инаковости, и наотмашь бьётся с представителями субкультур.

Крайне пессимистичные нарративы будущего несут в себе что-то от языческого заговора: чем чернее обрисуешь, тем нестрашнее в итоге будет. Возможно именно дистопическими сюжетами авторы отмаливают нам право на немного светлое будущее, без катастроф, катаклизм и цифрового рабства.

Будущее в художественной литературе остаётся сказкой и вымыслом, инструментом и катализатором. Настоящее — намного страшнее; по иронии то, что сейчас происходит, не чем иным как фантастической реальностью не назовешь, но в ней приходится жить, с ней приходится смиряться. И помнить, что независимо от времени и обстоятельств, человек несёт ответственность за себя и свой дом и способен всегда радоваться мелочам, из которых складывается жизнь — прошлая, настоящая, будущая. 

Майя Паит

„Не тот это город и полночь не та“

Peter Michalzik, Die Liebe in Gedanken. Die Geschichte von Boris Pasternak, Marina Zwetajewa und Rainer Maria Rilke. Aufbau Verlag, Berlin, 2019. ISBN 978-3-351-03767-3

Книга Петера Михальчика посвящена переписке трёх поэтов — Цветаевой, Пастернака и Рильке — но не только ей. Замысел автора шире: Михальчик рассказывает о жизненном пути каждого из поэтов до точки пересечения этих путей и о мире, в котором они жили. Книга написана в смешанном жанре. С одной стороны, это историческое повествование, которое опирается на источники: письма, воспоминания, художественные произведения. С другой стороны, когда источники отсутствуют (например, часть переписки Цветаевой и Пастернака не сохранилась), автор применяет метод художественной реконструкции — пытаясь вжиться в своих героев, он придумывает ситуации, которые, с его точки зрения, могли бы произойти.

Начинается книга с описания литературного вечера. Это был во всех смыслах исторический вечер: в конце января 1918 года в квартире супругов Цетлиных в Москве собрались поэты разных поколений. Там были Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Юргис Балтрушайтис, Павел Антокольский — и это неполный список участников. На этом вечере Владимир Маяковский прочёл свою поэму «Человек». Здесь впервые увиделись Марина Цветаева и Борис Пастернак — главные герои книги Михальчика. Приветливо и внимательно

Майя Паит (1976, Москва). Филолог, кандидат филологических наук. Окончила отделение классической филологии МГУ им. Ломоносова. Преподавала латинский, древнегреческий и немецкий язык в московских школах и высших учебных заведениях. Сейчас работает в администрации Университета им. Гумбольдта в Берлине. В Германии с 2009 года. Живёт в Берлине.

автор вглядывается в лицо каждого поэта — правда, портрет, вернее, портреты получаются у него несколько расплывчатые. Антокольского, например, Михальчик называет футуристом. Я процитирую две строфы стихотворения, написанного Антокольским весной 1917 года, то есть за несколько месяцев до этого вечера — во-первых, оно прекрасно, во-вторых, малоизвестно, и в-третьих, однозначно показывает, как далёк был поэт от футуризма:

И вот она, о Ком мечтали деды
И шумно спорили за коньяком,
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды
Вломилась к нам с опущенным штыком.
И призраки гвардейцев-декабристов
Над снеговой, над пушкинской Невой
Ведут полки под переклик горнистов,
Под зычный вой музыки боевой.

Суть и смысл творчества Андрея Белого автор объясняет, цитируя стихотворение Владимира Соловьёва. Маяковский предстаёт «решительным, прямым, позитивным человеком».

Но не будем заниматься буквоедством, автор не славист, и книга его — не научный труд. Оставим детали и обратимся к главной линии книги. Вот автор представляет нам Марину Цветаеву.

«Для Цветаевой, как и для символистов, язык глубины души, язык мечты был более реальным, чем язык описания, он был единственным реальным языком. Тем не менее, она прекрасно чувствовала красоту и притягательную силу тела. Она любила любовь и ощущала, что в любви важнее тело, чем добродетель и дух. Она сделала оригинальное замечание о силе телесной красоты: даже в темноте приятнее лежать рядом с прекрасным телом¹». Замечание, действительно, оригинальное. Главная его оригинальность состоит в том, что оно, как и весь вышеприведённый фрагмент — плод фантазии автора. Цветаева много размышляла о любви, в том числе физической, о красоте, о теле, но мысли её были вовсе не такими, какими их изображает Михальчик. Какими именно? Дадим слово Цветаевой.

Вот три записи 1920 года:

¹ Орывки из книги Михальчика приводятся в переводе автора статьи.

«Я не брезглива: потому и выношу физическую любовь».

«Не всё ли равно, с кем спать на земле, раз всё равно будешь спать, с кем попало — под землёй! Не у всех же фамильные склепы!»

«Никогда — никогда — никогда не сближалась без близости духовной (хотя бы мнимой!) — и как часто — без близости телесной (доверия)».

Вот отрывок из письма Цветаевой Петру Юркевичу, написанного раньше, в 1916 году: «Я так стремительно вхожу в жизнь каждого встречного, который мне чем-нибудь мил, так хочу ему помочь, „пожалеть“, что он пугается — или того, что я его люблю, или того, что он меня полюбит и расстроится его семейная жизнь...

...Мне всегда хочется сказать, крикнуть: „Господи Боже мой! Да я ничего от Вас не хочу. Вы можете уйти и снова прийти, уйти и никогда не вернуться — мне всё равно, я сильна, мне ничего не нужно, кроме своей души!“»

Не правда ли, перед нами совсем не тот человек, которого описывает Михальчик?

На этом примере видна главная черта, а точнее — главная беда этой книги. Кажется, автор считает, что сознательный отказ от научного подхода и установка на эмоциональное вживание в своих персонажей освобождают его от необходимости серьёзно изучать источники, вдумываться в них, понимать их и соотносить с ними свои творческие идеи. Всё, о чём рассказывает Михальчик, он переводит на язык своих представлений о жизни. Происходит колоссальная подмена: герои Михальчика носят имена реальных людей, у них почти те же биографии, что у этих людей («почти», потому что и факты часто искажаются — я расскажу об этом дальше), иногда они разговаривают цитатами из писем и стихов этих людей. Но это не те люди, это кто-то другой, им совершенно чужой и чуждый.

При этом автор не злословит, не сплетничает и не клеветает — в книге нет стремления принизить персонажей. Добавлю с горечью — принижение происходит помимо воли автора, само по себе.

Одной из задач этой рецензии я считаю восстановление справедливости. Я хочу дать голос героям книги Михальчика, в первую очередь — Марине Цветаевой, пострадавшей от него больше других.

Цветаевской семьи больше нет; у неё не осталось потомков, которые ощутили бы несправедливость по отношению к ней своей семейной, кровной обидой и вступились бы за её честь. А честь, безусловно, задета — это покажут примеры из книги. Значит, вступить за неё нужно людям, для которых важно творчество Цветаевой.

Думаю, что могу назвать себя таким человеком. Я любила стихи и прозу Цветаевой в отрочестве. Это были первые годы перестройки: на родине Цветаевой впервые стали издаваться собрания её сочинений с подробными комментариями, переписка, воспоминания современников. Образцом глубокого и бережного отношения к творчеству Цветаевой и событиям её трагической жизни стала (и осталась) для меня книга Анны Саакянц — главная книга для цветаеведов. Большая часть сведений, которые я привожу в своей рецензии и с помощью которых пытаюсь указать на ошибки и неточности, допущенные Михальчиком, есть в книге Саакянц. Эта книга указана им в списке использованной литературы, однако мне не кажется, что Михальчик внимательно её прочитал.

Итак, перейдём к более конкретному разбору.

Ирина. Страшнейшая страница жизни Цветаевой, которую мы откроем, чтобы опровергнуть очередную напраслину автора книги. В 1920 году от голода умерла двухлетняя младшая дочь Цветаевой Ирина. Михальчик пишет: «В сущности, мы не знаем, что это значило для матери». Михальчик не знает, вполне верю: как мы видели, он небрежно обращается с источниками, а выбранный им метод эмоционального вживания в своего героя применить в этой ситуации невозможно. На самом деле существует много свидетельств Цветаевой, что для неё значило это событие. Есть письмо к Звягинцевой и Ерофееву, начинающееся такими словами: «Друзья мои! У меня большое горе: умерла в приюте² Ирина — 3 февраля, четыре дня назад. И

² В конце 1919 года Цветаева поместила обеих дочерей в Кунцевский приют,

в этом виновата я». Есть несколько записей в тетради 1920 года; вот одна из них: «История Ириной жизни и смерти: на одного маленького ребёнка в мире не хватило любви». Наконец, есть стихотворение, которое я приведу полностью. Оно написано через два месяца после смерти Ирины.

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую-
Две головки мне дарованы.
Но обеими — зажатыми-
Яростными — как могла!-
Старшую у тьмы выхватывая-
Младшей не уберегла.
Две руки — ласкать — разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.
Светлая — на шейке тоненькой-
Одуванчик на стебле!
Мной ещё совсем не понято,
Что дитя моё в земле.

Горе и острейшее чувство вины видны каждому, кто прочитает эти страшные свидетельства.

Родзевич. Выше я написала, что Михальчик не клеветает и не злословит, то есть не стремится сознательно принизить своих героев. Есть одно исключение: с нескрываемой враждебностью он относится к Константину Родзевичу, возлюбленному Цветаевой, герою и адресату её «Поэмы Горы» и «Поэмы конца». Через 11 лет после расставания с Родзевичем Цветаева так вспоминала об их романе: «Безумная любовь, самая сильная за всю жизнь». Михальчик характеризует его такими словами: «Родзевич был наименее поэтичным из всех её любовников. Он был настолько банален, что его можно описать одним словом — „ловелас“». Оставим на совести автора выражение «все любов-

потому что ей нечем было их кормить. Вскоре старшая дочь Ариадна, тяжело заболела; Цветаева забрала её из приюта и выхаживала с помощью друзей. В это время Ирина умерла в приюте (здесь и далее прим. авт.).

ники Цветаевой» — непонятно, на основании чего он составлял свой список. Роман с Родзевичем — это, кажется, единственный случай в жизни Цветаевой, когда и она, и её возлюбленный однозначно высказались о сути своих отношений. Удивительна и необъяснима банальность и непоэтичность характеристики Родзевича, данной Михальчиком, её нарочито низкий стиль. Вот что она мне напомнила:

«Она была куртизанкой, сурово уточнил Потоцкий.

— Фо-фо ху-ха, — добавил Митрофанов.

— Володя хочет сказать — „просто шлюха“. И, грубо выражаясь, он прав. Анна Петровна имела десятки любовников. Один товарищ Глинка чего стоит... А Никитенко? И вообще, путаться с цензором — это уже чересчур!» (Довлатов, «Заповеднику». В этой сцене герои Довлатова обсуждают Анну Петровну Керн — возлюбленную Пушкина.).

Я коротко перечислю жизненные вехи Родзевича, опираясь на его автобиографию, написанную в 1978 году по просьбе Анны Саакянц — по ним видно, насколько не относится к нему слово «банальный», насколько мимо цели этот выстрел Михальчика. Итак: Родзевич родился в 1895 году. В середине 1917 года назначен мичманом на Черноморский флот. Во время гражданской войны — командующий Нижнеднепровской красной флотилии. В начале 1920 годов уехал в Прагу, получив стипендию Чехословацкого правительства для обучения в университете. С 1926 года жил в Париже. В 1936 году воевал в Испании на стороне республиканцев. Во время Второй мировой войны был участником французского Сопротивления. После войны жил в Париже. Добавлю от себя: Родзевич по памяти создал несколько графических и один скульптурный портрет Цветаевой. Переводил стихи Рильке. Умер в Париже в 1988 году.

Святополк-Мирский. Ещё один пример напраслины. Ранней весной 1926 года Цветаева провела 2 недели в Лондоне: Дмитрий Святополк-Мирский, литератор, почитатель её стихов, в то время — житель Лондона, устроил её поэтический вечер. Результатом поездки, кроме успешного выступления перед полным залом, была статья «Мой ответ Осипу Мандельштаму» — оказавшись в одиночестве, Цветаева напряжённо работала.

Михальчик рассказывает об этих двух неделях, как водится, переводя события на свой язык: «Она поехала с Мирским в отпуск»; «У них был роман — она появилась голой у его постели». Никаких свидетельств этой дикой сцены, конечно, не существует — перед нами очередная фантазия. Характерно, что вымысел Михальчика относится к цветаевским описаниям поездки в Лондон «с точностью до наоборот». В письме к Петру Сувчинскому она так описывает своё общение со Святополком — Мирским: «Молчание другого — неизбежность моей растраты, впустую, зря. Человек не говорит. Не говорит и смотрит. И вот я под влиянием молчания, глядения — враждебных сил!.. Переправа была ужасная. Никогда не поеду в Америку. Лондон нравится. У меня классическая мансарда поэта. Так устала (меньше от моря, чем от молчания), что спала одетая и всю ночь ворожала какие-то глыбы».

Ребёнок. Сейчас я хочу показать, как понимает Михальчик тексты Цветаевой — опубликованные, известные тексты, которые он не реконструирует с помощью фантазии, а пересказывает своими словами или интерпретирует. Первый пример: в письме Пастернаку (черновик условно датирован 28 апреля 1926 года) Цветаева пишет: «Знаешь мою детскую мечту — (мечта многих, мечта мною десятки раз воушию слышанная, — и от девочек и от старух, мечта времени) — Ребёнок — и одна. Жизнь с ним, в нём, без того». Михальчик передаёт этот текст так: «Она всегда мечтала родить ребёнка от любовника и потом жить одна». Пропустить цветаевское слово «детская» и добавить собственные два слова «от любовника», всего лишь. Но превращение, точнее, подмена происходит, и детская, девочкина, трогательная мечта превращается в какую-то странную фантазию.

Собака. Следующий пример. В письме от 14 июня 1926 года Цветаева так пишет Рильке: «Первая собака, которую ты погладишь, прочитав это письмо, буду я. Обрати внимание, какие у неё станут глаза». Вот как комментирует эти строки Михальчик: «Неизвестно, что это: поэзия? Отчаяние? Может быть, это весть от бессонной ночи Вечности, бледной, как луна?» А может быть, автор лучше бы понял, «что это», если бы

внимательно прочитал письмо Цветаевой, которое она написала Рильке месяцем раньше, 12 мая 1926 года? В нём Цветаева пишет о книге Рильке «Сонеты к Орфею», которую он прислал ей. К одному из сонетов Рильке сделал пометку карандашом — «к собаке». Итак, вот слова Цветаевой. «Твоя карандашная записка (так ли это называется? нет, лучше помета!) — лёгкое ласковое слово: к собаке. Милый, это переносит меня в моё детство, в мои одиннадцать лет, то есть в Шварцвальд, в самую его глубь. И воспитательница (её звали фройляйн Бринк, и она была омерзительна) говорит: „Этой дьявольской девчонке Марине можно всё простить, когда она произносит: „собака!“». (Собака — от восторга и нежности, и нетерпения — завывая — с тремя а-а-а. То были не породистые собаки, уличные!)

Райнер, величайшее счастье, блаженство прижаться своим лбом к собачьему, глаза в глаза, а собака, удивлённая, оторопевшая и польщённая (не каждый же день случается!), начинает ворчать. И тогда зажимаешь ей обеими руками пасть — ведь может и укусить, от одного умиления! — и целуешь. Много раз подряд³».

К этому можно добавить, что Цветаева всю жизнь любила собак, часто писала о них как в письмах, так и в художественных произведениях (например, в рассказах «Сказка матери», «Бапня в плюще» (этот рассказ, кстати, навеян элегией Рильке), в очерке «Живое о живом»).

Пастернак

На первый взгляд кажется, что портрет Пастернака удался Михальцику гораздо больше. Михальчик говорит о нём более спокойно и сдержанно. Знакома своего героя с читателем, автор сознательно противопоставляет его Марине Цветаевой. Цветаева, как мы помним, едва появившись в книге, сразу делает вызывающие, эксцентрические замечания о физической любви и господстве тела над духом; Пастернак же скромен и не уверен в себе: «Пастернак считал себя уродливым — со своим азиатским лицом, со своей укороченной ногой в ортопедическом ботинке на толстом каблуке⁴. При этом он был высоким, стройным, гордым и очень привлекательным мужчиной».

³ Письма Цветаевой и Рильке цитируются в переводе Константина Азадовского.

⁴ В 13 лет Пастернак упал с неоседланной лошади и сломал бедро.

Тем не менее, как и с Цветаевой, в случае Пастернака мы видим подмену: персонаж Михальчика совершенно чужд своему прототипу. Пастернак — герой книги Михальчика — всё время боится. Он боится Цветаеву: получив от неё восторженный отзыв на свои стихи, он чувствует страх и удушье. Когда они ссорятся (ссора, к слову, тоже выдумана Михальчиком), Пастернак воспринимает происходящее «как спектакль» — с реальностью совладать он не в силах. Он боится свою жену: жена устраивает шумный скандал в коммуналке, а Пастернаку кажется, «что у неё отрастают длинные когти» (нужно ли говорить, что и крики, и когти — фантазии автора. Я рада, что Евгений Борисович Пастернак не увидел книгу Михальчика).

Так же, как и с Цветаевой, Михальчик не понимает творчества Пастернака. Вот как, по его мнению, Пастернак относится к истории: «Он бы не мог писать, если бы не имел возможности воспринимать историю как базовое событие, которое столь же просто, столь же богоданно и богоугодно, как сама природа — или как погода, как очищающий дождь или милосердный снег... Борису было необходимо растворяться в поэзии, растворяться, соединяясь с природой, с окружением — или с любовью и общением. Иначе не получалось». По Михальчику получается, что Пастернак некритично и благодарно, как природу и погоду, воспринимал всю происходящее вокруг него, больше того, «сливался» с этим происходящим.

Думаю, причина этого совершенно невозможного вывода — неверно понятный сквозной образ творчества Пастернака. Это образ истории как растительного, древесного царства, равнодушного и не подлежащего нравственным законам. В пастернаковском посвящении Цветаевой, которое предваряло поэму «Лейтенант Шмидт», это — «спокойно-равнодушный лес, в котором идёт потрава» (Дмитрий Быков). Этот образ есть и в «Докторе Живаго»: «Он снова думал, что история, то, что называется ходом истории, он представляет себе совсем не так, как принято, и она ему рисуется наподобие жизни растительного царства... Истории никто не делает, её не видно». Но смысл человеческой жизни, по Пастернаку, как раз и состоит в том, чтобы сохранить себя и сделать моральный выбор

вопреки происходящему вокруг: именно об этом говорится и в «Лейтенанте Шмидте», и в «Докторе Живаго». Снова мы видим, как наблюдение Михальчика относится к личности и творчеству его персонажа «с точностью до наоборот».

Я хочу отвести от Пастернака напраслину об его боязливости и оппортунизме и вспомнить один эпизод его жизни, который свидетельствует о безграничной, сверхъестественной смелости и силе духа Пастернака. Я процитирую воспоминания его жены, Зинаиды Николаевны Пастернак. Цитата длинная, но эту — великую — историю надо знать и помнить всем, для кого что-то значит имя Пастернака. Итак: «Как-то днём приехала машина. Из неё вышел человек, собиравший подписи писателей с выражением одобрения смертного приговора „военным преступникам“ — Тухачевскому, Якиру и Эйдеману. Первый раз я увидела Борю расвирепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чём не был виноват, и кричал: „Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права её отнимать. Жизнью людей должно распоряжаться государство, а не частные граждане. Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, и я ни за что не подпишу!“ Я была в ужасе и умоляла подписать ради нашего ребёнка (Зинаида Николаевна в то время ждала ребёнка — М. П.). На это он мне сказал: „Ребёнок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет“. Тогда я удивилась его жестокости, но пришлось, как всегда в таких случаях, ему подчиниться. Он снова вышел к этому человеку и сказал: „Пусть мне грозит та же участь, я готов погибнуть в общей массе“, — и с этими словами спустил его с лестницы.

Слухи об этом происшествии распространились. Боря вызвал тогдашний председатель Союза писателей Ставский. Что говорил ему Ставский — я не знаю, но Боря вернулся от него успокоенный и сказал, что может продолжать нести голову высоко и у него гора с плеч свалилась. Несколько раз к нему приходил Павленко, он убеждал Борю, называл его христосиком, просил опомниться и подписать. Боря отвечал, что дать подпись — значит самому у себя отнять жизнь, поэтому он

предпочитает погибнуть от чужой руки. Что касается меня, то я просто стала укладывать его вещи в чемодан, зная, чем всё это должно кончиться. Всю ночь я не смыкала глаз, он же спал младенческим сном, лицо его было таким спокойным, что я поняла, как велика его совесть, и мне стало стыдно, что я осмелилась просить такого большого человека об этой подписи. Меня вновь покорило величие его духа и смелость».

Рильке

О Рильке Михальчик пишет значительно меньше, чем о Цветаевой и Пастернаке. Он не фантазирует, не реконструирует ситуации, но строит своё повествование строго на письмах и произведениях Рильке, а также на воспоминаниях о нём — главы книги, посвящённые Рильке, по сути, состоят из цитат, которые Михальчик перемежает краткими пояснениями. Подробно он останавливается только на одной теме — на отношении Рильке к болезни и смерти, и это совершенно закономерно. 1926 год — год заочного знакомства и переписки Рильке с Цветаевой и Пастернаком — это последний год жизни Рильке, время нарастания его смертельной болезни. Болезнь, разлад с собственным телом — одна из главных тем писем Рильке к Цветаевой. Вот что пишет Рильке во втором по счёту письме к Цветаевой (от 10 мая 1926 года):

«Но речь, утверждаешь ты, идёт не о человеке-Рильке; я и сам теперь с ним в разладе, с его телом, с которым в прежнее время я мог всегда достичь столь глубокой взаимности, что часто не знал, кому даются легче стихи: ему, мне, нам обоим? (Подолбыв ног, испытывающие блаженство, сколько раз, блаженство от ходьбы по земле, поверх всего, блаженство узнавать мир впервые, пред-знание, по-знание не путём знания!). А теперь — разлад, двойное облачение, душа одета иначе, тело укутано, всё иначе! Уже с декабря я здесь, в этом санатории, но с осторожностью допускаю врача в отношения между собой и собой — единственные, что не терпят посредника, который утвердил бы разрыв между ними, переводчика, который разложил бы это на два языка».

Свою болезнь Рильке воспринимал не как трагическую случайность, но как следствие процессов его внутренней, духовной жизни, следствие многолетнего одиночества, которое было

необходимо ему для творчества. Он рассказывал Цветаевой, как в 1921 году, во время его одинокого пребывания в Швейцарии, в замке Мюзот он писал «Сонеты к Орфею» и последние шесть «Дуинезских элегий»: «...когда в замедленной по разным причинам природе моего сознания началось неслыханно быстрое прорастание сперва „Орфея“ (каждая часть — в три дня!), а затем „Элегий“, и за несколько недель стихи достигли полноты созревания, неудержимо, почти разрушая меня страстностью своего извержения, и всё же — податливо, с такой чуткостью, что каждая (ты подумай) из ранее возникших строк смогла занять собою то пространство, в котором она была естественной ступенью и голосом среди других голосов... Но чтобы этого добиться, мне необходим был тот избыток одиночества во всей своей убийственности». И в том же письме: «...моё одиночество обернулось против меня, уязвляя физически и делая моё пребывание наедине с собой подозрительным и опасным, и всё более тревожным из-за телесного недомогания, заглушившего теперь то, чем была издавна изначальнейшая для меня тишина».

Трагический парадокс переписки Цветаевой и Рильке состоит в том, что Цветаева, полностью погрузившись в духовное общение с Рильке, не поняла, как сильно он болен и восприняла его рассказ о своём недуге как попытку отгородиться от её чувств. «Любовь, как всегда у Цветаевой, закончилась разминовением» — так написала об этом Анна Саакянц.

Я выбрала метод сравнения героев Михальчика с их прототипами, потому что суть его книги — это именно портреты героев, в первую очередь, Цветаевой и Пастернака. Собственно переписке 1926 года уделено не так много внимания: для Михальчика она — в первую очередь повод раскрыть характеры своих героев в тех или иных обстоятельствах. Предыстории переписки, то есть жизненному пути поэтов до 1926 года, посвящено больше половины книги.

У книги Михальчика положительные отзывы. Читатели благодарят автора — в прессе и в отзывах на книжных порталах — прежде всего за подробный, эмоциональный и увлекательный рассказ о жизни русских поэтов. Действительно, Ми-

хальчик пишет живо, книга его читается легко; я уверена, что читатель, мало знакомый с жизнью Цветаевой и Пастернака, будет с увлечением и душевным участием следить за развитием событий. Бесспорно удачной мне показалась глава под названием «Потоп»: Пастернак, в беспокойстве мечущийся по Москве и размышляющий об отношениях с Цветаевой, видит наводнение на Москве-реке (в конце апреля 1926 года в Москве действительно было наводнение). Тем не менее, читатели получают совершенно ложное представление о Цветаевой и Пастернаке. Михальчик написал поверхностную и небрежную книгу, не дал себе труда внимательно изучить источники и вдуматься в тексты, которые он читал и интерпретировал. Мы отмечали серьёзные, принципиальные искажения личности Цветаевой и Пастернака в книге. Настало время сказать об огромном количестве более или менее мелких неточностей — неточностей, которые тоже указывают на поверхностную, невнимательную работу с источниками. Вот некоторые из них.

Дочь Цветаевой Ариадну (Алю) Михальчик последовательно называет Асей. Ему не мешает даже то, что в цитатах из писем, которые он приводит, несколько раз — чёрным по белому — стоит имя «Аля». На одной странице написано, что сыну Цветаевой в 1926 году был год от роду (правильно), буквально на следующей — что ему в том же году было три года. Брата Пастернака Александра он называет Алексеем. Пастернак в его книге в 1915 году уезжает работать в Елабугу (на самом деле — на Урал, во Всеволодо-Вильву), где знакомится с Еленой Виноград (на самом деле жившей в Москве). В книге появляется гибридный персонаж Илья Григорьевич Ходасевич. Самая вопиющая ошибка — вернувшись в 1939 году в Россию, Цветаева встречается с мужем в кабинете чиновника НКВД (на самом деле они встретились и жили всей семьёй до ареста Ариадны Эфрон в подмосковном Болшеве, на даче, предоставленной их семье НКВД).

Я уверена, что точность, даже в мелочах, ответственность за каждое своё слово — это не буквредство, не крохоборство, а стремление к правде, исторической и художественной. Не стремясь к правде, нельзя писать книги о реальных людях. В книге Михальчика я такого стремления не увидела. 

Список использованной литературы

- Анна Саакянц. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Москва, Эллис Лак, 1997
- Борис Пастернак. «Существования ткань сквозная...»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями. Москва, Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017
- Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З. Н. Пастернак. З. Н. Пастернак. Воспоминания. Москва. Дом-музей Бориса Пастернака, 2010
- Борис Пастернак. Собрание сочинений в двух томах. Санкт-Петербург, Издательская группа «Азбука-классика», 2010
- Дмитрий Быков. Борис Пастернак. Москва, Молодая Гвардия, 2007
- Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов. Издание подготовили Е. Б. Коркина и И. Д. Шевелёно. «Вагриус», Москва, 2004
- Марина Цветаева. Записные книжки и дневниковая проза. Захаров, Москва, 2002 год
- Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. Москва. Терра — Книжный клуб; «Книжная лавка» — РТР, 1998
- Небесная арка. Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. Издание подготовил Константин Азадовский. «Акрополь», Санкт-Петербург, 1992

Елена Левченко

Белые пятна души

Katerina Poladjan, Hier sind Löwen. S. Fischer Verlag, 2019, 288 S. ISBN: 978-3-10-397381-5

Книга Катерины Поладян *Hier sind Löwen* («Здесь обитают львы»), вышедшая в 2019 году на немецком языке, сразу привлекла внимание всех солидных газетных изданий Германии и попала в длинный список Немецкой книжной премии. Это уже четвёртый роман актрисы и писательницы, проживающей в Германии и имеющей русско-армянские корни.

Прочитав название книги, можно подумать, что речь идёт об Африке. Но уже на первых страницах найдётся объяснение этому необычному названию. *Hic sunt leones* — «Здесь обитают львы» — такими словами были помечены неизведанные, а потому и опасные территории и пространства, белые пятна средневековых географических карт.

Именно в такую страну, в Армению, полную географических белых пятен и белых пятен своей семейной истории, и посылает Катерина Поладян героиню Хелен Мезавян, реставратора старинных рукописей. Хелен — потому что Хелен родилась в Германии. Мезавян — потому что её мама родилась в армянской семье.

Вообще-то Хелен, от лица которой ведётся повествование, едет в Ереван в первую очередь по обмену опытом, чтобы изучить самобытные армянские методы восстановления старинных рукописей. Она уже проходила стажировку в Турции в мастерских библиотеки Сулеймани и теперь получила стипендию для обучения в Ереване. Почему бы и не поехать? Очень многие вещи в жизни Хелен происходят по принципу «Почему бы и нет?».

Елена Левченко (1973, Кишинёв). До отъезда в Германию училась на преподавателя русского языка и литературы. В Германии окончила Кассельский университет по специальности «Информатика/электротехника». Работает программистом. В Германии с 1995 года. Живёт в Берлине.

Сама Катерина Поладян говорит в одном радиointервью, что она до последнего времени вообще не интересовалась своим происхождением и избегала причислить себя к той или иной этнической группе. «Я не армянка, я не русская, я не немка. Я не знаю, кто я. И меня это, собственно говоря, и не интересует», — говорит Катерина. «В длинных очередях на паспортный контроль мы, кажется, единственные западноевропейцы», — замечает писательница своему немецкому коллеге-журналисту, сопровождающему её в поездке по Армении.

Её героиня Хелен тоже переводит разговор о своих корнях совсем в другую, буквальную плоскость, к значению слова «корни»: «Корни? У меня нет корней, я же не дерево!», — резко прекращая дальнейшие расспросы о своём происхождении.

Хелен живёт в Германии, её отец — немец, и она далека от того, чтобы ощущать себя армянкой. Когда мама, с которой Хелен находится в натянутых отношениях, перед отъездом в Армению мимоходом даёт ей «подарок» — старую фотографию 50-х годов, на которой изображены тринадцать неизвестных ей людей с серьёзными лицами, — Хелен возмущена. Она едет по обмену опытом! У неё нет особого желания заниматься поисками дальних родственников.

Эта тяжёлая, неприятная, бессмысленная задача. Почему она легла на её плечи? Сама того не сознавая, Хелен отправляется в путь, чтобы не только исследовать белые пятна в истории своей семьи, но и пролить свет на белые пятна своей души. Путь, после которого она уже не вернётся прежней.

Вырвавшись из немецкой рутины, Хелен погружается в свою, пусть и временную, но новую жизнь.

Прежде всего работа над старинной Библией, которую ей поручили в хранилище, захватывает её с головой. С почти хирургической точностью исследует Хелен старинный фолиант, на котором не только время, сырость и пыль оставили свои следы, но и люди, прежде владевшие этой книгой.

Постепенно новое для неё окружение становится привычным и родным, в этом ей сложно признаться даже самой себе.

Её фамилия, такая чуждая и странная немецкому уху, вдруг находится в естественном созвучии с окружающими её

именами. Любовная связь с сыном начальницы Левоном, имя которого неслучайно значит «лев», казавшаяся необязательной и мимолётной, переходит в более глубокое чувство. По вечерам она ходит в бар, в котором Левон играет джаз, в выходные ходит в гости к своим новым знакомым. Вдруг почувствовав интерес к армянскому языку, Хелен сравнивает армянские слова с русским и английским переводом в инструкции к микроволновой печи.

Хелен больше не чувствует себя случайной и чужой в этой гостеприимной стране. Она исподволь примеряет на себя новую жизнь.

Что-то меняется в Хелен после гостеприимного приглашения начальницы отпраздновать день рождения в большом семейном кругу в городе Аштарак. Аштарак... Не этот ли город указан на обороте выпетшей фотографии?

И фотография, и как бы случайные вопросы матери в редких телефонных звонках всё-таки не дают ей покоя. Как бы нехотя (а почему бы и нет?) отправляется Хелен на поиски своих родственников, одновременно спрашивая себя: «Зачем мне нужна эта встреча с незнакомыми людьми?»

В Аштараке есть только одна семья Мезавян, в квартире висит портрет Хемингуэя. «У моей матери нет фотографии её отца, а Хемингуэй напоминает ей о нём, поэтому он здесь висит», — поясняет хозяин квартиры, которого Хелен вначале принимает за родственника. Но это однофамильцы... Когда её начальные поиски не увенчиваются успехом, она тихо признаётся самой себе: «Моя мама говорит о каком-то пробеле. И сейчас мне кажется, что я тоже чувствую в себе эту пустоту».

Ведомая этим новым чувством, Хелен летит в Турцию и посещает города Орду и Карс, места рождения её бабушки и дедушки. Ничего не напоминает о том, что когда-то здесь жили десятки тысяч армян. Нет ни музеев, ни памятников, ни обелисков, ни вечных огней. Есть только памятник турецким мученикам, погибшим от рук армян, и безымянные могилы, которые даже сейчас, почти 100 лет спустя, оскверняются в попытках найти в них воображаемое армянское золото...

Старинной семейной Библии, которую Хелен поручили отреставрировать в ереванском Институте древних рукописей

Матенадаран, почти триста лет. Хелен относится к ней почти как к живому существу, которого она боится ранить. Книги могут болеть, им нужно специальное лекарство. Когда она вечером идёт домой, то скучает по этой книге как по чему-то живому. Какие следы могут уничтожить или размыть её неосторожные прикосновения? Нужно ли восстанавливать вырванную страницу? Может быть, этот пробел, эта пустота, это отсутствие, как и впадина, пропасть, бездна, воронка, неизвестность расскажут нашему воображению ещё более трогательную историю? Нужно ли стирать эти нацарапанные на полях слова? Может быть, за этими полустёртыми словами скрывается целая жизнь?

В колофоне, последней части Библии, которую реставрирует Хелен, она натывается на строчки, в которых описывается история армянской семьи в начале 20-го века. Сотрудница архива помогает перевести их на русский. Всего лишь несколько имён, дат рождения и места — и краткая запись, похожая на короткую молитву: «Грант не хочет просыпаться, сделай так, чтобы он проснулся».

Хелен, до сих пор описывающая себя и свои действия с бесстрастностью постороннего наблюдателя, в смятении.

В этот момент читателю становятся понятными главы книги, уже давно и искусно вкраплённые в первую линию повествования. Вторая линия повествования — это бегство двух детей, 14-летней Анаид и шестилетнего Гранта, спасшихся от резни, устроенной турецкими солдатами, из их родного города Орду на анатолийском побережье Чёрного моря в горы.

В отличие от довольно лаконично написанной первой сюжетной линии, история блужданий двух детей описана очень эмоционально и позволяет Катерине Поладян рассказать о событиях столетней давности: Агхет, Катастрофе, Великом Злодеянии, физическом уничтожении христианского населения Османской империи, происходившим в период с весны 1915 года по осень 1916 года, большей частью которого были армяне. Более полутора миллионов человек, убитых, ограбленных, умерших от болезней, голода, жары.

В воображении автора в руки Хелен попадает именно та Библия, которую Грант и Анаид получили от мамы перед тем, как она из последних сил послала их в спасительное бегство.

Геноцид армян не является в Германии запретной темой. Тем не менее, количество книг в немецкоговорящей среде, посвящённых одному из первых крупнейших трагических событий начала двадцатого века, можно буквально пересчитать по пальцам. В основном это документальные исследования и исторические документы, в которых приводятся доказательства преступлений, совершённых властями Османской империи при поддержке вспомогательных войск и гражданских лиц. Определённая часть этих исследований посвящена роли Германии, её моральному безразличию и отсутствию решительных мер против преступлений, направленных против гражданского населения.

«Так как во время войны Османская империя была союзником Германии, многие немецкие офицеры, дипломаты и сотрудники гуманитарных служб становились свидетелями зверств, совершаемых по отношению к армянскому населению. Их реакция была различной: от ужаса и подачи официальных протестов до отдельных случаев негласной поддержки действий османских властей. Геноцид армян стал мрачным прологом к эпохе Холокоста», — написано в статье «Геноцид Армян» на странице «Энциклопедия Холокоста».

Художественные произведения о геноциде армян на немецком языке — это в основном книги, переведённые с нидерландского, американского, румынского, турецкого языков. Очень характерной чертой всех этих книг является то, что, за малым исключением, все они написаны третьим поколением жертв геноцида.

Катерина Поладян тоже представительница третьего поколения жертв Агхета. Её книга — это одна из немногих художественных книг, написанных по-немецки и доступных для широкого читателя. В ней Катерина выполняет одну из очень важных задач художественной литературы: рассказать историю людей, которые были убиты или которые сами не смогли её рассказать. Литература, которая в том числе является источником исторической памяти, может сберечь для нас бесследно стёртую жизнь.

Катерина Поладян не имела возможности задать вопросы своему дедушке Гранту, он умер, когда ей не было и трёх лет.

Отцу Катерины, художнику Михаилу Поладяну, тоже не удалось узнать историю своего отца из его уст. Почти что единственное, что Катерина знает о своём армянском дедушке — то, что он был спасён старшей сестрой. Поэтому ей пришлось написать историю двух детей, прибегнув к художественному вымыслу.

Конечно же, очень трудно упрекать детей жертв геноцида, что они не задавали вопросы своим родителям. И в своей книге Катерина Поладян находит этому объяснение. «Как вы думаете, почему я не спрашивал отца о его истории? — вопрошает один из героев книги. — Я не спрашивал его, потому что не хотел услышать ответ. Я не спрашивал, потому что его молчание заполняло собой всё пространство. Это молчание отпугивало меня; оно научило меня уважать его безмолвие».

Несомненно, чтобы выслушать такие ответы, от нас требуется огромное мужество.

Хелен уезжала в Армению, чувствуя тяжесть материнских ожиданий на своих плечах. Катерина Поладян тоже встретилась с чужими ожиданиями, когда начала собирать материал для своей новой книги об Армении. «Ты армянка, ты несёшь ответственность, ты должна об этом написать. И ты должна об этом правильно написать!» — слышала она в Армении со всех сторон.

И с этой задачей она справилась прекрасно. Книга, написанная лаконичным, скупым и сдержанным языком, создаёт в воображении читателя очень яркие, объёмные образы и заставляет его сопереживать героям книги.

Этот книга похожа на акварельный рисунок. Мягкими, полупрозрачными мазками автор наносит на бумагу первые разрозненные штрихи. Поначалу всё ещё непонятно, что он хочет изобразить. Потом мазки становятся всё интенсивнее и ярче, картина становится всё более тёмной и трагичной, на большом полотне вырисовываются фигуры детей, страдающих и изнурённых бегством, оцепеневшая Хелен, находящаяся в поиске себя, в поиске своей утраченной семьи, трагическим апогеем которого является поездка к массовым захоронениям жертв армянского геноцида, заброшенным, непризнанным и неисследованным.

Эта прекрасная, с большим количеством деталей акварель так и не станет картиной, выписанной с фотографической точностью. Многие детали и дальнейшие судьбы героев так и останутся неясными. И смотреть на эту картину нам будет нелегко, у нас не появится чувства радости и облегчения.

Но такие книги нужно писать, и такие книги нужно читать.

Чтобы портрет Хемингуэя висел в наших домах просто так. Чтобы потомки жертв и потомки их палачей могли вместе ужаснуться совершенным когда-то чудовищным преступлениям и могли вместе поплакать над перенесёнными когда-то страданиями.

Чтобы этот ужас не повторялся где-то на нашей Земле сейчас, каждый день. 

Нина Калаус

Между Достоевским и Довлатовым: почему «Толмач» не стал бестселлером?

Михаил Гиголашвили, *Толмач*. Редакция Елены Шубиной, 2020, 672 с. ISBN: 978-5-17-120477-8

Редкий миллениал сегодня без гугла догадается, что означает название романа. Редкий зумер осилит и половину книги. «Толмач» впервые вышел в печать в 2003-м, когда те, кто родился в 1990-е, только пошли в среднюю школу, а их младшие сёстры и братья едва научились звонко окликать маму. И вряд ли им (опять же без гугла) будет понятен контекст романа. Это не их война. А тех, кто хорошо помнит Чеченскую кампанию.

Михаила Гиголашвили даже искушённые литературные критики называют одним из самых одарённых современных русскоязычных писателей. Правда, в этом случае чаще вспоминают его «Чёртовое колесо» — роман о наркоманах в Грузии в конце 1980-х. «Толмач» вышел раньше и такого эффекта не произвёл ни на читателей, ни на критиков. У этого, как мне кажется, есть несколько причин. Они кроются в сюжете, повествовании и языке автора.

Действие романа происходит в начале 2000-х, когда в Германию после начала Второй чеченской войны потянулись сотни беженцев. «Бывсовлюди», как называет их рассказчик, —

Нина Калаус (1989, Волгоград). Арт-директор. Более 10 лет руководит собственной дизайн-студией, входящей в топ-50 креативных IT-агентств России. По специальности информатик-аналитик в сфере PR. Автор статей по темам it-разработки и дизайн-мышления. Член жюри российских конкурсов сайтов («Золотой Сайт», «Рейтинг Рунета»). Участник международных конференций по информационным технологиям. Организатор бизнес-конференции для женщин в Берлине *Smart Forum Women*. Ведущая подкаста и модератор книжного клуба «Кино, вино и книга». Выступает как литературный критик. В Германии с 2017 года. Живёт в Берлине.

граждане бывших советских республик, бежавшие то ли и правда от войны, то ли просто «под шумок» за лучшей жизнью. Определить, кто действительно достоин стать гражданином страны, а кого лучше отправить обратно, следует немецким чиновникам. И дело это, как убеждается главный герой, непростое.

Рассказчик, глазами которого мы видим всё, что описано в романе, — художник из России. Но он, как пишет сам же, «только паром, плот, лодка». Волею судьбы он становится переводчиком (толмачом) в лагере беженцев и одновременно наблюдателем, которому открывается своеобразный паноптикум из люмпенов и маргиналов.

Вот Витас из Грозного, с виду — «браток», но уверяет, что воевал ещё в Первую чеченскую. Правда, куда-то из его памяти выпало пять лет, да и остальные года восстановлены слабо. А вот Оксана из Харькова, неустроенная барышня, которую «жизнь заела», при этом более веских оснований, кроме квартиры с трещинами, для эмиграции у Оксаны никак не набирается. И таких портретов — десятки.

Как признавался в одном из интервью автор, его личная эмиграция стала отправной точкой. Однако автобиографичного в «Толмаче» немного. Гиголашвили попал в Германию в начале 1990-х легально, по визе преподавателя. А вот персонажи его романа готовы сделать всё, чтобы затеряться в толпе добропорядочных немецких бюргеров.

Здесь, кстати, можно протянуть литературные ниточки сразу к двум писателям. С одной стороны, весь этот маргинальный «подпол» отзывается Достоевским. Характеры и типаж в «Толмаче» хоть и выглядят вполне современными, но тоже превращаются в калейдоскоп психологических портретов, выписанных филигранно, с большим интересом и даже анализом.

О том, что эта связь, как генетический тест, верна на 99,9 процентов говорит и другой факт. У Гиголашвили с Достоевским есть своя личная история, и длится она уже не один десяток лет. Гиголашвили давно исследует творчество знаменитого литературного психоаналитика, в 1991-м вышла его монография «Рассказчики Достоевского», а в Германии писатель даже стал членом общества, посвящённого Достоевскому и его наследию.

Другая ниточка будет гораздо короче, лет на сто. Одним из ярких писателей-эмигрантов в 20-м веке был Сергей Довлатов. Ироничность повествования в «Толмаче» продолжает и эту традицию русского зарубежья.

Однако, несмотря на эти аллюзии, не в пользу романа играет обилие персонажей. Если в первых главах эти яркие портреты и детали привлекают своей кинематографичностью и живостью, то чем больше на сцену выходит героев, тем однообразнее становится повествование. Вероятно, поэтому чтение «Толмача» идёт так тяжело. В определённый момент все эти истории приедаются. Ведь ты уже где-то подобное слышал — страниц сто назад...

При этом филологическую любовь Гиголашвили к русской классике выдаёт ещё несколько моментов. Во-первых, эпистолярный жанр. Роман «Толмач» — это сборник писем художника своему другу в Россию. Тот же Достоевский в «Бедных людях», своём первом тексте, использует эту структуру. Тут же возникает ещё один маячок — герой-рассказчик. Хватит познаний школьной программы (Пушкина, Лермонтова, Толстого), чтобы вспомнить, как любили этот приём реалисты 19-го века.

Язык романа — наполненный, разнообразный, густой. Им автор умело и профессионально выписывает портреты людей из разных социальных слоёв. Однако этот же язык, как мне кажется, несколько ломает структуру романа. Создаётся ощущение, что эпистолярный жанр в «Толмаче» очень условный, а Гиголашвили выбирает форму писем к другу, чтобы ввести героя-рассказчика. Объём писем, их наполненность и детализация скорее напоминают дневник того, кто упражняется в литературе.

Но, несмотря на все эти моменты и даже на переключку с «Венериным волосом» Михаила Шипкина (который, кстати, вышел позже), роман «Толмач», как мне кажется, пенен своей документальностью. Да, ещё в начале автор нас предупредил, что все совпадения случайны, а герои — вымышлены. Но ощущение, что ты точно где-то видел и Витаса, и Оксану, и Варвару с Аней, не покидает. И, вроде бы, смешно видеть их, таких истинно русских людей по своей ментальности — с большой фантазией. А с другой стороны, голь, которая хитра на выдумки, вероятно, выдумывает не от хорошей жизни. И закончатся ли в нас когда-нибудь бывсовлюди? 

Марина Росина

Пишу, следовательно, существую

Maxim Biller. Wer nichts glaubt, schreibt. Reclam, 2020, 272 S. ISBN 978-3-15-019672-4

В сборник вошли двадцать два эссе о Германии и литературе, написанных Максимом Биллером за тридцать лет, в период с начала девяностых до настоящего времени.

Немецкий писатель Максим Биллер, которому в этом году исполнилось шестьдесят, никогда не хотел быть немцем, и остался себе верен. Автору двух десятков книг удалось сохранить свою идентичность в стране, умеющей интегрировать приезжих до размытия сущности. Биллер рос двуязычным, его родными языками стали русский и чешский. За немецкий он взялся уже в десятилетнем возрасте, когда семья переехала в Германию из Чехословакии. Но именно немецкий стал языком, на котором он всю сознательную жизнь пишет то, что думает и чувствует. «На немецком я всегда хочу сказать только то, что хочу, не меньше, но и не больше, и это, конечно, невероятно много»¹, — уверяет нас писатель.

Прямолинейный Биллер не любит красивые бессмыслицы, а потому пишет точно, не распыляясь на крылатые выражения и витиеватости, не подстраиваясь под вкусы и общественные мнения. У него есть своё понятие о честности и морали, место которых он чётко защищает и в литературе. Автор по праву считает, что говорит по-немецки лучше, чем большинство немцев.

Марина Росина (1983, Силламяэ, Эстония). Переводчик, журналист, лектер. Окончила бакалавриат истории искусств в Тартуском университете и магистратуру в Таллинском университете. В рамках студенческого обмена училась в университете им. Эрнста Морица Арндта в Грайфсвальде и на факультете переводоведения, прикладной лингвистики и культурологии Майнцкого университета (институт переводчиков). Выпускница *Creative Writing School* Майи Кучерской. В Германии с 2013 года. Живёт в Мюнхене.

¹ Здесь и далее цитаты приводятся в переводе автора рецензии.

И пишет Биллер, кстати, тоже блестяще. Не зря в прессе его называют одним из прекраснейших стилистов немецкого языка.

В эссе 1992 года Биллер пишет, что никто из его немецких друзей не говорит о своих корнях, о своих предках. Тема прошлого избегается и замалчивается. Автор делает вывод: у кого нет своей идентичности, тот не допускает её и в других. Позднее говорить о прошлом начали, но настолько отстранённо, что это дало Биллеру ещё один повод высказаться против. Немцы, которых нацисты «заставили» быть плохими — это далеко не вся картина.

Биллер воспринимает себя евреем, так же как Уве Теллкамп² считает себя немцем, а Карл Уве Кнаусгор³ — норвежцем. Первый раз автор побывал в Израиле в двенадцать лет, с тех пор ездит туда почти каждый год. Если бы не было Израиля, автор не уверен, что писал бы вообще. А потому еврейская тема в творчестве Биллера занимает большое место, а тема Холокоста — центральное, хоть и против его воли. Его интересует не сколько факт Холокоста, сколько то, что он делает с людьми — не только жертвами и палачами, но и их потомками.

Не говорить о прошлом еврею невозможно. Если немцы могут избегать темы коллективной памяти народа, то для евреев, которые не привязаны к географии, эта память — единственная родина, которая у них есть.

Автор пишет о том, что евреи были вытеснены из немецкой литературы национал-социалистами. Если раньше это была одна широкая дорога, то теперь это две разные, причём немецкая — гораздо уже.

Максим Биллер сравнивает еврейских литераторов довоенного времени с нынешними авторами с миграционным прошлым. В них Биллер видит шанс обогатить немецкую литературу. Автор уверен, что хорошая литература в любом случае делает человека лучше, а Германия — это не только немцы. Он уверен, что вакуум разобщённости мы можем преодолеть, если будем уважать наши различия, использовать непохожесть друг на друга как возможность создать мост, а не пропасть.

² *Uwe Tellkamp* (1968), современный немецкий писатель.

³ *Karl Ove Knausgård* (1968), современный норвежский писатель.

Биллер пишет о том, что если в литературу послевоенной Германии вошла ложь, то современная немецкая литература и вовсе потеряла связь с реальностью, у неё нет сообщения с внешним миром. Эта литература не трогает, не вдохновляет, тиражи её маленькие, читают книги в основном сами авторы, лекторы, рецензенты и ещё парочка интеллектуалов. Кризис литературы, конечно, хорошая тема для *small talk* на вечеринке, но хотелось бы идти дальше.

Среди авторов с миграционным прошлым, по мнению Биллера, тоже нет единства, нет сильного голоса, какой есть, например, в США. Жизнеспособность американской литературы объясняется тем, что голос авторов-иммигрантов там всегда был силён. Биллер надеется, что когда в Германии появится больше критиков, издателей и авторов иностранного происхождения, ситуация изменится. Когда творчество этих людей будет про самобытность, а не про образцовое приспособленчество, когда оно будет восприниматься серьёзно и станет объектом вдохновения, подобно творчеству еврейских авторов прежде, тогда немецкая литература сможет задышать полной грудью и больше не будет «умирающим пациентом».

Новым авторам Биллер советует оставаться собой, а сильную сторону видеть в своей уникальности. Именно её можно сделать темой книг и фильмов. Не нужно думать о том, как бы написать так, чтобы добиться похвалы и сорвать аплодисменты. Биллер напоминает, что приспособленчество — не лучший рецепт счастья. «К чему я клоню? К тому, что мы, немемецкие писатели, пишущие на немецком, должны наконец-то начать пользоваться нашим многоязычием и взглядом со стороны», — подытоживает Биллер.

Автор согласен — литература никогда не была реальностью. Как бы она ни менялась, она остаётся только «фантазией из букв». Литература — это «голос тонко чувствующего человека», возможность передать свои чувства, мысли, суждения. Но честность и мораль в литературе тоже должны быть. Так же как и секс. Без секса Биллер не представляет ни своих героев, ни читателей.

Два года назад, когда умер Филип Рот, американский писатель еврейского происхождения, немецкий издатель Ми-

хаэль Крюгер сказал, что Рот открыл дверь в еврейский мир, которую захлопнули нацисты. Подобно Филипу Роту, Максим Биллер тоже открывает эту дверь и держит зеркало перед народом Германии, порой шокируя отражаемой в нём мимикой и гримасами. Задача Биллера в чём-то даже сложнее чем у Рота, вдали от американской мечты, с местными реалиями, бок о бок с теми, о ком он пишет.

После прочтения эссе Биллера становится понятно, почему в немецкой среде его называют дерзким. Но и любят его тоже, как любят непослушного, но талантливого ребёнка. Эссе Биллера последних трёх десятилетий актуальны как никогда. Автор, индивидуальность которого перекрывает любые стереотипы, имеет мужество спорить, говорить открыто и использовать прямолинейность немецкого языка по назначению — живёт и пишет в правильном месте. 

Фильмы ужасов как антистресс, антидепрессант и градус благополучия горожан

Кинообзор Веры Колкутиной

Фильм ужасов (по-английски и по-немецки — «хоррор») — это жанр художественного кино. Жанр предполагает наличие определённого сюжета и стилистических признаков. Как понять зрителю, что перед ним «ужас»? Должно ли с первых кадров леденить кровь, бросать в холодный пот, сводить судорогой конечности и парализовать волю?

Теоретически, да, но на практике фильм ужасов в его наивысшей художественной сути должен вызывать только одно чувство, приблизительно такое: «Какое счастье, что это фильм!» или «Слава Всевышнему, что это только кино, и я не имею к этому никакого отношения!».

Здесь глубокоуважаемый зритель может нам возразить, что такие мысли возникают и при просмотре драм, мелодрам и даже комедий, и будет прав. Но с одной лишь поправкой: фильм ужасов может быть максимально реалистичным, красивым, увлекательно страшным и мерзким одновременно, но останется максимально «иллюзией режиссёра», тогда как иные жанры содержат процент реалистичности от половины и больше. Это означает, что и облегчение от того, что всё это «придуманно», при просмотре ужасов максимально и дорогого стоит.

Оглянемся на 2020-й год: что предложили зрительскому вниманию режиссёры в жанре «хоррор»? Например:

«Гретель и Гензель» — американский фильм ужасов режиссёра Оза Перкинса. Фильм вышел на экраны 30 января 2020 года. В центре истории — девочка-убийца.

«Няня: Королева убийц» — американский (комедийный) фильм ужасов режиссёра Джозефа Макгинти Никола (Макджи). Премьера состоялась 10 сентября 2020. В центре истории — молодой человек и силы Зла.

«Проклятие» — (детективный) фильм ужасов режиссёра Николаса Песке. Римейк одноимённого фильма 2004 года. Премьера состоялась 1 января 2020 года. В центре истории — дом-убийца.

Итак, мы видим, что фильмы ужасов — действительно ужасы, но охватывают тематически обширные и разнообразные круги фильмов, и комедийного характера, и детективного. Призваны они, тем не менее, вызвать у зрителей одно и то же чувство страха, тревоги и неопределённости, создавать напряжённую атмосферу безысходности и мучительного ожидания чего-либо ужасного — так называемый эффект «саспенс».

И это им удаётся. Под грифом «Ужас» располагаются они в каталоге фильмов. А нам так и хочется воскликнуть: «Ах, зритель! Но почему же ты смотришь эти фильмы?»

Мы приготовили сразу и ответ. Причина неснижаемой популярности фильмов ужасов (по данным Йельского университета статистики, жанр ужасов — как самый многочисленный по количеству лент, так и самый просматриваемый) — эмоциональный голод больших городов.

Да, в современном городе, промышленном ли, высокотехнологичном ли, традиционном ли, «эмоциональный голод» горожан — их постоянный спутник. Социологи рассказывают: общество первой четверти 21 века атомизировано, социальные связи виртуализированы, речевые коммуникации ушли в мессенджеры, «комментарий» подменяет высказывание от первого лица и личностную позицию.

Факт. А чего жаждет душа горожанина? Хлеба и зрелищ! «Хлеб» доставляется на дом службами доставки, а зрелища? И зрелища тоже. Интернет 24/7 обеспечивает зрелищностью круглосуточно. Так где же этот «голод»?

«Эмоциональный голод больших городов» — это нехватка действия, действия субъекта в отношении окружающих его других субъектов и объектов. То есть нашему горожанину не хватает драк, подворотен, уличных знакомств, просьб «закурить не найдётся?», семейных ужинов и газетных уток. Нервы горожанина как кисель, лишь слегка колышутся от сообщений об эпидемии, восстаниях, повышении ставок по кредитам или снижению налога. Все экономические новости уже давно не

действуют на нервную систему горожанина, он вакцинирован от них. Но адаптация к среде не отменяет потребности в эмоциональных потрясениях, в ярких переживаниях, новых впечатлениях, потребности сравнивать, потребности чувствовать своё превосходство.

«Эмоциональный голод» тут как тут.

В деревне всё иначе. Падёж скота, текущие крыши, замерзшие посевы, неурожай, а может быть, и избыток урожая, эмоциональный фон постоянно включён в сеть. Напряжение высоко. Тогда как, несмотря на прогресс и готовую еду из супермаркета, город «эмоционально голодает».

Как «накормить» сытое общество? Фильмами ужасов.

Вашему вниманию предлагаются три фильма ужасов от немецкого кинопроизводителя. Смотреть, глянуть одним глазком, посмотреть на быстрой прокрутке — крайне рекомендуется. Эмоций они вам добавят.

И основная из них вас захлестнёт: «Ах! Какая радость, что это всё выдумка!».

Культуролог Пауль Йозеф Паулюс в беседах об экранной культуре высказал следующую мысль: «Благополучное общество снимает отличные фильмы ужасов: там, где можно и бояться, и с облегчением вздохнуть, а после просмотра ещё и обсуждать. Это ужасы мистического характера. Общество кризисного периода и экономической нестабильности если и пытается снимать фильмы ужасов, то выходят они сугубо бытовыми, где не хватает обычного благополучия, на уровне комфортного общежития. Тогда как пронзительно-одинокие, безысходно-депрессивные и такие беспричинно-тоскливые ужасы, что хочется „забыть и не вспоминать“, снимают страны развитые и стабильные».

Иллюстрируя цитату выше, приведём созданную нами классификацию стран-производителей фильмов ужасов:

- 1) США
- 2) Россия и Восточная Европа
- 3) Германия и Северная Европа (Швеция, Дания, Норвегия)

И отдельно стоят самобытные фильмы-хорроры, снятые в странах Азии (Южная Корея, Китай, Япония). Особенность последних — это смесь мистики (вампиры, зомби, изменённые

состояния сознания нерелигиозного происхождения) и немотивированной, но выдержанной и «облагороженной» жестокости.

Предлагаем к просмотру первый вариант «ужастиков». Вашему вниманию представлены три ленты. Они сняты либо немецким режиссёром, либо целой страной — Германией, и ей фильмы ужасов удаются. Удаются картинка, кровь, страх и омерзительность. Однако США держат пальму первенства в этом жанре. России, к примеру, жанр ужасов поддаётся с трудом, а «ужастиков» производства Беларуси, Украины или Киргизии мы в рубрике и при всём желании не посоветуем — широкоформатных и популярных фильмов в этом жанре этими странами пока ещё не снято. Но, возможно, всё впереди. Итак.

Мода на социальные сети может привести к разному

Обитель тьмы (*Heilstätten*, 2018, Германия).

Режиссёр: Михаэль Давид Пате

В ролях: Нилам Фарук, Эмилио Сакрая, Тимми Тринкс, Соня Герхардт и др.

Что близко вам, зритель, сегодня? «Клик-культура», мечтается о *YouTube*-канале с миллионом подписчиков? Чтобы снимать всякое-разное, получать деньги и жить припеваючи, называть себя блогером и заявлять, что на работу ты не ходишь, не для того тебя мама родила, чтобы просиживать свои таланты в офисе.

Приключения *YouTube*-блогеров — богатая тема для любого жанра современного кинематографа. Немецкий режиссёр Михаэль Давид Пате (*Michael David Pate*) дебютировал с ней в жанре хоррора. По сюжету четверо блогеров в поисках интересной темы решают создать видеоконтент на тему борьбы со страхами. Для этого они выбирают старый заброшенный госпиталь в окрестностях Берлина. Про это место ходит немало пугающих слухов: до войны там лечили людей, а в своё время нацисты ставили жестокие эксперименты над пациентами. Путешествие в лечебницу станет настоящим испытанием для друзей, пережить которое по традиции смогут далеко не все.

Таков сюжет. Вам уже страшно, зритель?

При просмотре фильмов ужасов помним одно правило: кино само по себе — это просто фильм(ы), а боитесь вы только того, чего боитесь и без фильма. И если это отразить, то и фильм посмотрите интересный, и от страхов избавиться возможно.

Образование. Если вас привлекает медицина...

Анатомия (*Anatomie*, 2000, Германия)

Режиссёр: Штефан Рузовицки

В ролях: Франка Потенте, Бенно Фюрманн и др.

«Анатомия», немецкий хоррор, стал самым кассовым фильмом на немецком языке в 2000 году. Продолжение ленты — «Анатомия-2» (*Anatomie 2*) — было выпущено в 2003 году.

Всё начинается банально: желанная учёба и тяга к знаниям. Студентка-медик Паула Хеннинг (Франка Потенте; *Franka Potente*) получает место на летних курсах Гейдельбергского университета, где её дед был известным профессором. Это честь — пройти практику у одного из лучших специалистов Германии — профессора Гронбека. Однако с первых же дней практики девушку не оставляют сомнения в том, что за происходящим вокруг скрывается какая-то страшная тайна. Героиня получает шанс убедиться в своей правоте, когда узнаёт об истории 400-летних ужасных опытов над людьми, к которой профессор Гронбек имеет самое непосредственное отношение.

Во время одного из уроков по анатомии на столе для препарирования оказывается тело Давида, молодого человека, которого Паула встретила в поезде в Гейдельберг. Инструктор Паулы, профессор Гронбек, унижает её, заставляя вскрыть сердце. Паула обнаруживает, что на теле Давида имеются странные порезы. Паула от природы любопытна, иначе какой она медик? Девушка решает выяснить, отчего погиб молодой человек.

На этом пути Паула находит ключи, указывающие на древнеестайноеобщество—Антигиппократовское. Оно проводит ужасные эксперименты над живыми людьми, которых считает нежелательными. Паула также сталкивается с исследованиями о

ритуалах, которые они проводят с нарушителями своих правил или с теми, кто слишком много ими интересуется.

Такой и сочли юную медичку. Однажды ночью Паула сидит на своей кровати и понимает, что она была пропитана кровью, а под ней оставлены свечи в знак предупреждения Общества. После чего мы видим ещё много крови, амбиций, и жертв этих амбиций, среди которых Паула лавирует почти на грани жизни и смерти.

Несмотря на однообразность сюжетов этого жанра, съёмочной группе из Германии под руководством оскароносца Штефана Рузовицки (*Stefan Ruzowitzky*) удалось создать оригинальный фильм, в котором, кроме всего прочего, нет избытка элементов карикатурной кровавости. Фильм характеризуют отсутствие штампов и претензий на интеллектуальность.

Атмосфера в «Анатомии» отличается напряжённостью и способна пощекотать даже самые крепкие нервы.

Психология как наука

Фрейд (*Freud*, 2020, Германия, Австрия, Чехия)

Режиссёр: Марвин Крен. Мини-сериал.

В заглавной роли: Роберт Финстер

Сериал «Фрейд» — это микс из мистики образца работ Эдгара По, викторианского детектива времён Конан Дойля и ужасов Говарда Лавкрафта, где достаточно пущенной человеческой крови и смертей, чтобы считаться «ужасом».

Фильм стилизован под неонуар.

Авторы сценария сериала «Фрейд» подошли основательно к историческому материалу. Сама фигура Зигмунда Фрейда верно списана с реального прототипа: главный герой сериала ещё не имеет никакого авторитета. Молодой амбициозный врач, живущий в имперской Вене 1886 года, практикует гипноз. Многие считают врача шарлатаном. Он недавно вернулся из Парижа после стажировки у знаменитого врача-психиатра Жана Шарко, погряз в долгах и для успокоения нервов принимает кокаин.

А что же касается чувств главного героя сериала в исполнении Роберта Финстера (*Robert Finster*), его эмоции, импульсивные поступки, метания, сомнения... За давностью лет каждый может воссоздать «личность» Фрейда на свой лад, и никто за это не осудит.

«Мы хотим показать Фрейда таким, каким его никто не знает — это мужчина в поисках признания, мечущийся между разумом и инстинктами», — говорил в интервью Мартин Крен, режиссёр сериала.

Всё происходящее в сериале представляет собой непрекращающуюся борьбу каждого из персонажей с бессознательной стороной собственной психики, совокупностью инстинктивных влечений — Фрейд именовал её «Оно». Оно, по Фрейду, иррационально и подчиняется принципу удовольствия, в свою очередь находящемуся в подчинении у влечения к смерти или Танатоса. У всех героев сериала влечения принимают порой самые причудливые и сложно объяснимые формы.

Серии «Фрейда» имеют говорящие названия. Названия следуют логике оригинальной теории психоанализа прототипа главного героя. Одновременно, по аналогии, иллюстрируя то, что случается в самой серии. Наш деликатный спойлер, но только для некоторых серий.

1-я серия, «Истерия». Ничто не происходит «просто так», всегда есть катализатор события. «Просто так» ничего не бывает (по Фрейду). Бедность, амбиции и молодость студента по фамилии Фрейд; мёртвое молодое тело; полиция и вопросы без ответов.

2-я серия, «Травма». Всё, что мешает вам реализовать ваши желания, всё, что встаёт на пути вашего стремления к удовольствию, травматично для личности (по Фрейду). Австро-Венгерской империи больше нет, успеха у молодого студента Фрейда пока ещё нет. Отрицание, сомнения и уход в искусственное удовольствие (кокаин).

3-я серия, «Сомнамбула».

4-я серия, «Тотем и табу».

5-я серия, «Инстинкт».

7-я серия, «Катарсис».

8-я серия, «Вытеснение». Вытесняющие силы служат этическим и эстетическим требованиям человека. Невозможность следовать «принципу удовольствия», но и нежелание неудовольствия — всё устраняется путём вытеснения (по Фрейду). Главный герой желает себе иной личной жизни, но. Есть комфорт, позиция в обществе и данное им «слово». Потому всё хорошо, но не так, как хочется.

Тёмные улочки, заброшенные каналы и заблудшие души — сериал «Фрейд» в очередной раз закрепляет за Веной репутацию мировой столицы бессознательно-болезненной колыбели подавленных и (не)реализованных человеческих страстей.

Ужасы как жанр и сериал как форма

В истории развития ужасов и в формате сериала есть своя легенда. Это **«Кошмар на улице Вязов»**. Это работа в жанре «слэшер» (главный герой — маньяк-убийца), созданная режиссёром и сценаристом Уэсом Крэйвеном в 1984 году.

Сюжет построен вокруг Фредди Крюгера — призрачного маньяка-убийцы. Крюгер убивает во снах подростков. В качестве мотива убийца использует месть родителям этих детей,строивших самосуд над ним много лет назад.

Дети и родители — эта тема священна. Дети как «табу» для родителей, а родители — как «тотем» для детей, используя язык Фрейда. Само понятие жизнь — это прямая ассоциация с родителями. Если ты есть на этом свете, значит, у тебя есть родители. И всё, что будет бессознательно переворачивать сознание, — это нарушение связи «ребёнок-родитель». Эти фигуры архетипичны, варианты нормы их взаимоотношений вшиты в человеческое сознание, но не нами, эволюцией самого живого. Степень искажения этих норм — степень «ужасности» фильма или самой реальности. Пример тому — американские ужасы второй половины двадцатого века — **«Психо»** (1960) Альфреда Хичкока или **«Изгоняющий дьявола»** (1973) Уильяма Фридкина.

А что же касается сериала... Любопытство к тому, что сам не испытаеть никогда, — вечно. Любопытство — вечный двигатель киноискусства. Куда оно нас заведёт в двадцать первом веке — это мы с вами ещё увидим. 

„Очень часто нам советуют написать о своём заграничном опыте. Похоже, это всё, чего от нас ждут“

Круглый стол с участием берлинских представительниц различных языков

Интересующиеся современной литературой и в эмиграции имеют возможность принимать активное участие в (около)литературной жизни - на своём родном языке либо на языке страны (немецком в случае Германии). Но иные языки зачастую остаются за пределами нашего внимания, и мы даже не представляем, что происходит по соседству - но на языке, который мы не понимаем. По просьбе «Берлин.Берега» о состоянии литературы и литературной деятельности рассказали представительницы других языков, имеющие прямое отношение к профессиональной словесности.

Расскажите о себе. Как вы пришли в литературу? Чем вы сейчас занимаетесь?

Стефани Люкс (род. во Франции)

Я работаю литературным переводчиком с 2004 года. С одной стороны, это писательская деятельность, но, с другой стороны, это может также мешать самостоятельному письму. Я пишу собственные тексты (стихи, короткую прозу) только около года. Именно письменные семинары Жюли Тирар вдохновили меня начать писать, я участвую в чтениях *Réseau Autrices francophones de Berlin* с декабря прошлого года. Но сейчас я пишу благодарственную речь для церемонии по получению премии имени Нервала и Гёте, которую я скоро получу в Париже.

Изаскун Грасиа (род. в Стране басков, Испания)

Я постоянно пишу с детства. Как только я научилась писать, я начала писать собственные стихи и рассказы. Тем не менее, до 2003 года я ничего не публиковала.

В течение следующих нескольких месяцев (если пандемия позволит) я опубликую сборник стихов и сборник рассказов. Всё это время я продолжаю писать стихи.

Катерина Ритц-Ракуль (род. в Украине)

Я украинка, живу и работаю в Берлине. Я написала докторскую диссертацию на тему современной американской литературы. В 2015 году я со своими бельгийскими, немецкими и украинскими друзьями основала в Берлине ассоциацию *kul'tura*, её цель — сделать современную украинскую культуру, включая литературу, более заметной в Германии.

Каролина Голимовска (род. в Польше)

Я выросла в Варшаве и приехала в Берлин на учёбу в 2003 году. В 2005 году я переехала в Лондон, вернулась в Берлин через два года. Позднее я провела чуть более года в Нью-Йорке и Ричмонде (штат Вирджиния), пока писала докторскую диссертацию по американской литературе. С 2014 года я снова живу в Берлине, где работаю письменной и устной переводчицей, веду проекты поэтического перевода *Haus für Poesie* (Доме поэзии) и преподаю в Свободном университете.

Я пишу краткую прозу и литературные колонки как на польском, так и на немецком языках — мне нравятся как рассказы, так и экспериментальные форматы. Мои рассказы публиковались в польских литературных журналах, а некоторые вышли в переводах в Германии.

Я пришла к письму через чтение. Когда у меня было мало времени для чтения, письмо шло тоже очень вяло.

Эрика Зингано (род. в Бразилии)

Я пришла в литературу, потому что мой отец покончил жизнь самоубийством, когда мне было 11 лет. Еще до его смерти я любила наедине разговаривать сама с собой, когда была одна. Я до сих пор так делаю. В общем, литература была для меня уединённым занятием, она давала мне возможность справиться со смертью/травмой и думать вслух с помощью голоса.

Сейчас, во время пандемии, я снова учусь, чтобы получить еще одну докторскую степень в университете. До этого я участвовала в некоторых проектах, чтобы заработать деньги, я занималась переводами и подготовила несколько старых материалов для публикации в журналах. Кроме того, мы с еще одним писателем организовали независимое издание, это связано с моей мечтой... Я также много пишу. Сейчас сложное время, но

и очень интересное. С политической точки зрения очень не просто, потому что наш президент выжил из ума, и мы столкнулись с хаосом, что еще больше осложняет жизнь с точки зрения социального обеспечения.

Ирине Беридзе (род. в Грузии)

Я — литературовед и культуролог. После учёбы в Тбилиси (я занималась германистикой) я приехала в Берлин/Потсдам для обучения в рамках магистерской программы, посвящённой новой немецкой литературе и восточноевропейской культурологии. Мой научный интерес в литературе — в первую очередь связанный со центрально- и восточноевропейскими литературами — выкристаллизовывался во время учёбы в Грузии и, позднее, в Германии.

Сейчас я преподаю в Восточноевропейском институте (*Osteuropa-Institut*) при берлинском Свободном университете и параллельно пишу диссертацию на тему «Восточноевропейская мигрантская литература на немецком языке». Кроме того, я активно знакомяю немецкую аудиторию с грузинской литературой и вместе со своими коллегами веду в интернете блог *Read Ost — Der Blog für mittel- und osteuropäische Literatur und Kultur*, посвящённый центрально- и восточноевропейской литературе и культуре.

Каково состояние литературы на вашем языке/-ах?

Стефани Люкс

Нынешнее положение в книжной отрасли вызывает беспокойство. По крайней мере, во Франции, где почти все книжные магазины были закрыты на протяжении всего локдауна, что привело к гораздо более низким показателям продаж и откладыванию выхода многих книг. Нам, вероятно, грозит более длительный кризис, который — теперь я вижу это с точки зрения переводчика, потому что зарабатываю этим на жизнь — коснётся и уже опытных переводчиков и переводниц. Сейчас делают ставку на большие имена, которые должны снова стимулировать показатели продаж. Сложно придётся и debutантам.

Изаскун Грасиа

Могу подтвердить, что обе литературы пользуются большой популярностью, хотя они очень разные. Литература на

испанском языке — одна из крупнейших в мире, литературный рынок на испанском языке очень велик, и у него миллионы читателей по всему миру. Литературный рынок на баскском языке гораздо меньше, там и читателей меньше. С баскского языка переводят реже, поэтому эта литература не столь известна. К счастью, в последние годы всё больше писателей, в том числе молодых, пишут по-баскски, создают очень интересные тексты.

Катерина Ритц-Ракуль

Восстановление независимости в 1991 году дало новый толчок украинской литературе, а также различным литературным исследованиям. Революция достоинства, стремление к большему культурному продукту на украинском языке и новые законы о защите украинского книжного рынка качественно изменили ситуацию. Рынок становится всё больше и разнообразнее, как для произведений на родном языке, так и для переводов. Остаётся только надеяться, что издатели переживут новое правительство и COVID.

Особенность украинской литературы заключается в том, что люди читают много поэзии, поэты на Украине похожи на рок-звёзд, и их выступления очень популярны. Возможно, это имеет определённое отношение к тому, что они социально и политически активны, что они — инфлюенсеры.

Украинские детские книги и их иллюстраторы — это моя личная симпатия, они завоевали несколько международных премий и сделали себе имя в мире литературы. Книги находят правильные интонации и слова для решения таких сложных и важных тем, как война и беженцы, современные семьи во всём их разнообразии, равноправие, пол/гендер и инклюзия, история и идентичность, искусство и окружающая среда. Есть много великолепных книг, которые передают глубокое содержание с детской лёгкостью.

Дополнение. Ксения Фукс, писательница.

Положение неоднозначное. С одной стороны, у нас повышенный интерес к книгам на украинском языке, и Революция достоинства 2014 года сыграла здесь основную роль. Результат: улучшение качества печати, увеличение выпуска книг на украинском языке и переводов, появление новых издательств,

литературных институтов (например, Украинский книжный институт) и так далее. Нельзя также забывать и книги для детей и молодёжи, которых не было ещё десять лет назад. Книгопечатание и иллюстрирование книг также стали значительно лучше. С другой стороны, с 2019 года наблюдается заметный спад в отношении продвижения украинской издательской индустрии со стороны государства. Многие издательства в настоящее время борются с возможным банкротством. Параллельно российская пропаганда и российские деятели действуют весьма агрессивно. Они по-прежнему экспортируют в Украину довольно дешёвые книги и тем самым вызывают демпинг цен на украинские книги.

Каролина Голимовска

Я считаю, что у польской литературы в целом всё очень хорошо, несмотря на, или, может быть, из-за политически неспокойных времён и глубокого общественного раскола, который, по-видимому, затрагивает все сферы жизни и который умудряется разрушить давние дружеские и семейные отношения. Есть несколько сильных литературных имён, которые известны даже за рубежом, и их переводят довольно много. Здесь представлены и проза, и лирика, и традиционный в Польше жанр литературного репортажа. Конечно, Нобелевская премия по литературе, присуждённая Ольге Токарчук, тоже важный знак.

Эрика Зингано

В Бразилии люди очень интересуются литературой, но это большая страна, и в ней много разных голосов, что прекрасно. Сейчас в Бразилии идёт внутренняя борьба, это приводит к важным дискуссиям о феминизме, расизме и местных традициях, различные мыслители из нашей страны наконец-то стали более заметными в СМИ и более доступными для публики. И, конечно, всё это начало отражаться и в литературных произведениях. Молодые люди, которые раньше не имели возможности высказываться, осмысливают колониальное прошлое страны.

Ирине Беридзе

Грузинскую словесность можно отнести к так называемым «небольшим литературам», поскольку на языке, обладающим своим уникальным алфавитом, говорит сравнительно небольшое количество людей. Однако грузинская литературная

традиция — очень давняя и очень богатая, к примеру, к ней относятся такие произведения как «Рыцарь в тигровой шкуре» Шоты Руставели, считающийся национальным грузинским эпосом.

Современная грузинская литература, с одной стороны, интенсивно занимается своими литературными истоками, с другой — она всегда готова к увлекательным постмодернистским экспериментам и считает себя частью мировой литературы. Небольшой книжный рынок Грузии активно поставляет новые имена и новые тексты. Многие из них получают самую главную литературную премию страны — «Саба».

Как обстоят дела с литературой на вашем языке в Берлине и Германии в целом? Проводятся ли чтения, презентации книг, поэтри-слэмы?

Стефани Люкс

Отношения между немецкоязычным и франкоязычным книжным рынком довольно тесные, редакторы и издатели знают друг друга, видятся на книжных ярмарках или других мероприятиях — таких как от *Institut Français* и *Bureau du Livre* французского посольства. Книжный магазин *Zadig* во главе с Патриком Сюэлем, недавно переехавший на Гипсштрассе в районе Митте, регулярно организует чтения и встречи с франкоязычным авторами.

«Литературный коллоквиум» (*Literarisches Colloquium Berlin, LCB*) также важное место для франкоязычной литературы в Берлине. Там всегда можно встретить известных авторов (мне запомнилась встреча с Лидией Сальвер, получившей в 2014 году Гонкуровскую премию за роман «Не плакать»).

Швейцарский фонд *Pro Helvetia* поддерживает многие литературные проекты, на Франкфуртской книжной ярмарке 2021 года почётным гостем будет Канада и, следовательно, квебекская литература, что привело к переводу большого количества текстов на немецкий язык...

Здесь идёт постоянный обмен, и, пожалуй, невозможно назвать все проекты, но я хотела бы ещё упомянуть двуязычный литературный журнал *La Mer gelée*, который выходит в изда-

тельстве *Le Nouvel Attila* и выпускается между Берлином и Парижем; кроме того, существует сеть франкоязычных авторов в Берлине (*Le Réseau de autrices francophones de Berlin*), которая, в частности, ставит перед собой задачу продвижения литературы, написанной женщинами; и *Afropéennes — Afropäerinnen*, проект, который включает в себя четыре дня мероприятий с открытыми «круглыми столами» и сценическими чтениями на различных площадках в Берлине в период с марта по ноябрь 2020 года.

И последнее, но не менее важное: благодаря онлайн-журналу *stadtsprachen* у нас есть очень хорошая платформа и возможность открыть для себя новые франкоязычные голоса — среди всех других языков, на которых говорят и пишут в Берлине.

Изаскун Грасиа

На баскском языке, к сожалению, проводится очень мало мероприятий. Время от времени можно найти чтения или подобное мероприятие, но это происходит не очень часто, потому что в Берлине мало читающих на баскском.

К испанскому языку это не относится. Испанская община в Берлине очень велика (и образована не только людьми из Испании, но и из других испаноязычных стран), и она очень интересуется литературой. Поэтому постоянно проводятся чтения, презентации книг, вечера поэзии и так далее. С другой стороны, спектакли, театральные представления и стендап-шоу на испанском языке также проходят в Берлине довольно часто, а испанские книжные магазины предлагают всевозможные семинары и библиотечные услуги.

Катерина Ритц-Ракуль

В Берлине регулярно проходят чтения и круглые столы с украинскими авторами, организуемые сообществом *kul'tura*. Кроме того, *LCB* и *DAAD* (*Deutscher Akademischer Austauschdienst*, Германская служба академических обменов) часто приглашают украинских авторов и переводчиков в гости на чтения и круглые столы. Кроме того, в берлинских *Haus für Poesie* и *Literaturhaus* (Доме литературы) регулярно проводятся чтения и разнообразные мероприятия. Там представлены как украинские проекты, так, например, и литературный фестиваль *Meridian Czernowitz*, а также международные проекты (*Papierbrücke*). Университет Виадри-

на (Франкфурт-на-Одере) — ещё одно хорошее место для мероприятий, связанных с Украиной, в Берлине и его окрестностях.

Также постоянно появляются переводы с украинского. Мой любимый пример из недавних — роман Софьи Андрухович *Papierjunge* (в оригинале: «Фелікс Австрія»).

Я бы также хотела отметить организацию Translit, которая объединяет переводчиков с украинского языка. В этом году в сотрудничестве с *PEN* и *MeetUp* они запустили гостевую программу для молодых переводчиков. Ещё один семинар *Translit* организовала в сотрудничестве с *LCB*.

Дополнение. Евгения Лопата, культуртрегер, переводчица.

Я сама устраиваю читательские поездки украинских авторов в Германию два раза в год (осенью и весной). С 2015 года это десятки мероприятий с такими литераторами из Украины, как Юрий Андрухович, Оксана Забужко, Сергей Жадан, Таня Малярчук, Игорь Померанцев, Андрей Любка, Катерина Калытко, Ирина Цилик, Катерина Бабкина. Кроме того, есть ряд писателей и писательниц, которые планируют и проводят собственные презентации самостоятельно или приезжают по приглашению своих немецких издателей. Вдобавок многие немецкие фестивали приглашают украинских авторов на свои мероприятия, например, в берлинском *Haus für Poesie*.

Каролина Голимовска

В Берлине есть управляемый с большой любовью замечательный немецко-польский книжный магазин buchbund в Нойкёльне, который организует литературные вечерние мероприятия, чтения и круглые столы. Для этого живущих в Польше писателей, журналистов, интеллектуалов и прочих приглашают в Германию. Многие из встреч проводятся на обоих языках — польском и немецком с синхронным переводом, некоторые — только на польском или только на немецком. Во всех случаях обращение идёт как к польской, так и немецкоязычной аудитории.

«Клуб польских неудачников» (*Klub Polskich Niudaczników*) также проводит чтения и дискуссии (из-за коронавируса встречи были временно прекращены).

Что касается печатных СМИ, то я знакома только с немецко-польским журналом *Dialog*, который освещает скорее темы из мира политики и социальной сферы. Ева-Мария Сласка ведёт блог, в котором регулярно появляется новая и не очень новая польская проза и лирика.

Польских писателей и писательниц регулярно приглашают на литературные фестивали — Литературные дни на Нейсе (*Literaturtage an der Neiße*) и Узедомские литературные дни (*Usedomer Literaturtage*), которые проводятся в приграничных с Польшей регионах. Фестивали в основном сосредоточены на литературном обмене между Польшей и Германией.

В городских библиотеках Берлина есть приличный выбор беллетристики, поэзии и детских книг на польском языке.

Кроме того, Берлин всё чаще становится пристанищем для тех, кто больше не чувствует себя комфортно в современной Польше. В последние годы он стал новым домом для писателя Яцека Денеля и журналистки Евы Ванат.

Культурно-политические изменения, происходящие в Польше, получают отклики из Берлина. Например, в 2019 году в Германии прошёл ряд мероприятий под названием *Lesesyklus LEKTURY*, финансово поддерживаемый федеральным центром политического образования. Цель этих мероприятий заключалась в том, чтобы представить польскую литературу, которая должна была исчезнуть из польских школьных учебников, поскольку она не вписывается в повестку дня консервативного правительства партии *PiS* (*Prawo i Sprawiedliwość*). Мне неизвестно, организуются ли в Берлине чтения или поэтические слэмы подчёркнуто на польском языке.

Эрика Зингано

Да, пока я жила в Берлине, латиноамериканское сообщество было довольно впечатляющим, в нем были увлеченные люди, которым было интересно проводить встречи и мероприятия — такие как *Latinale* от Тимо Бергера и Рике Болте или *Lettrétage*, а также издатели — например, *Hochbroth*. У меня было ощущение, что Берлин — это международное пространство, которое интересуется многими разными вещами. Конечно, нельзя сравнивать отношения между Россией и Германией с

отношениями между Бразилией и Германией, у них абсолютно разная история, но с этой точки зрения Берлин был отличным местом, где я могла делиться своим литературным творчеством и экспериментировать. Не только с латиноамериканскими писателями, но и с представителями других культур.

Ирине Беридзе

В 2018 году Грузия была страной-гостем на Франкфуртской книжной ярмарке, что дало возможность в немецкоязычной среде подробно представить свои многосторонние литературные традиции. Всё прошло очень успешно, и в результате на немецкий язык был переведён целый ряд текстов: читатели в Германии теперь могут ознакомиться как с каноническими произведениями грузинской литературы, так и с книгами современных писателей и писательниц. Выступление на ярмарке было, без сомнений, большим шагом вперёд в деле распространения богатой грузинской культуры и литературы в Германии.

Немецкоязычная критика открыла для себя таких авторов, как главный феминистский голос Грузии Тамта Мелашвили, центральная фигура современной грузинской литературы Ака Морчиладзе, а также Арчил Кикодзе и его книги.

Есть много авторов, чей родной язык — русский, но которые пишут только на немецком. Двуязычных же авторов куда меньше. Как обстоят дела с вашим языком? Есть ли лидеры среди представителей и представительниц литературы на вашем языке в Германии и в целом за границей?

Стефани Люкс

Поскольку с 2013 года я иногда работаю в книжном магазине (*Anakoluth* на Шёнхаузер-аллее в Берлине), я вижу, что франкоязычная литература хорошо продаётся — в последние годы, например, Анни Эрно или даже Виржини Депап. Франкоязычные авторы, пишущие на немецком языке, представляют собой скорее исключение, и подобное исключение — замечательное — это Жером Робинет, писатель, поэтический перформер и переводчик, опубликовавший недавно роман «Мой путь от белой женщины к юному мужчине с миграци-

онными корнями» (*Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund*) в берлинском издательстве *Hanser*.

Изаскун Грасиа

У испанских/баскских авторов есть понемногу тех и других. Есть авторы, которые пишут только на баскском или испанском языках, а также авторы, которые пишут на обоих языках. Есть, конечно, и авторы, которые пишут на третьем языке, но это очень редкие случаи. Обычно известные писатели, живущие за рубежом на протяжении десятилетий (например, Ирати Элорьета, Саманта Швоблин), всё ещё пишут на своих родных языках.

Катерина Ритц-Ракуль

Безусловно, есть такие. На ум приходит только Катя Петровская. Однако всё же есть украинские авторы, которые присутствуют в немецкоязычном пространстве и завоевали многочисленные премии: Юрий Андрухович, Сергей Жадан и Оксана Забужко. Книга Жадана «Депеш Мод» даже была поставлена в венском театре *Werk-X*.

Каролина Голимовска

Есть авторы, которые пишут на обоих языках, например, Магдалена Парыс. Большинство же выбирает для себя один язык. Существуют также авторы, которые постоянно используют польские термины в немецких текстах, что особенно сильно заметно в поэзии — например, у Анны Хетцер, или тематизируют многоязычие в своих текстах, как живущая в Берлине Ивона Мицкевич или, в гораздо большей степени, Дагмара Краус. Бригида Хельбиг-Мишевски — двуязычная писательница, которую хорошо принимают как в Германии, так и в Польше, и которая была номинирована на, возможно, самую важную польскую литературную премию *Nike*.

Есть также писатели, пишущие по-немецки, чья литературная «ткань» очень тесно связана с Польшей, польской историей и опытом эмиграции — Эмилия Смеховски, Маттитас Наврат, поэт Андре Рудольф.

Эрика Зингано

Я не думаю, что можно сравнивать, это не такая же ситуация... Я думаю, но никто не приходит мне на ум в качестве примера. Я знала некоторых бразильских писателей, но они были двух- или трёхязычными. Это не одно и то же.

Ирине Беридзе

Очень интересный вопрос! Из-за того, что появление так называемой мигрантской/межкультурной литературы (которая, с одной стороны, работает с помощью перехода авторов с одного языка на другой, а с другой стороны, представлена в увлекательной форме дву- или многоязычия) тесно связано с глобальными миграционными процессами, в грузинской литературе встречаются лишь считанные единицы примеров подобной литературной работы.

Сейчас главная в Германии грузинская представительница первой группы — перешедших с языка на язык — без сомнений, Нино Харатишвили, которая добилась большого успеха со своим третьим романом *Das achte Leben. (Für Brilka)* («Восьмая жизнь. (Для Брильки)», 2014). Роман был переведён на многие языки и был параллельно адаптирован для театральных постановок.

Рядом с Нино Харатишвили следует упомянуть немецко-грузинского писателя Гиви Маргвелашвили (его книги выходили в издательстве *Verbrecher*). Его мигрантская история совсем другая: он родился в Берлине в семье мигрантов в 1927 году, жил и в Грузии, и в Германии, а свои тексты писал в том числе на немецком. Маргвелашвили скончался в марте 2020 года. Ещё один важный голос современной грузинской литературы — Зураб Карумидзе. В 2006 году он опубликовал свой третий роман на английском языке — *Dagny or a Love Feast* («Дагни, или Праздник любви»). Время от времени в грузинской литературе появляются и интересные двуязычные эксперименты, в первую очередь — в поэзии, но эти межкультурные литературные процессы становятся более интенсивными только сейчас.

Есть книги, которая издаются «на родине» (немецкие в Германии). Есть также книги, выходящие в других странах (немецкоязычные в США). Есть ли различия в восприятии этих двух явлений в вашей родной стране или же литературный процесс считается единым целым?

Стефани Люкс

Как француженка я бы утверждала, что во Франции вначале смотрят на то, что происходит в Париже. Но, возможно, всё поменяется ещё и потому, что мы просто вынуждены находить новые виды литературного общения.

Изаскун Грасиа

Для меня нет никакой разницы. Я всегда пишу то, что чувствую, то, что действительно хочу выразить, независимо от того, будет ли текст опубликован на моей родине или за границей.

Очень часто нам (писателям и писательницам, живущим за рубежом) советуют написать о своём заграничном опыте — как, например, Владимир Каминер, который рассказывает о жизни русского человека в Германии. Считается, что наши книги будут недостаточно интересными, если мы напишем о чём-то другом. Похоже, это всё, чего от нас ждут.

Многие авторы следуют этому совету (и я не возражаю, многие из этих книг очень хороши и на самом деле интересны), но я предпочитаю писать на другие темы.

Катерина Ритц-Ракуль

Да, это единый литературный процесс.

Каролина Голимовска

Моё впечатление — литература, написанная на польском языке авторами, живущими в Германии, хорошо воспринимается в Польше и, прежде всего, получает там внимание журналистов. Выпускаемые польскими издательствами книги живущих в Берлине Магдалены Парыс, Дороты Данилевич, Каролины Кушик подробно освещаются в польской прессе, а сами писательницы ездят по Польше с чтениями. Парыс также несколько раз появлялась на обложках польских журналов и газет. Я думаю, что какой-то секретной литературы, которую можно воспринимать только за границей, не существует.

Эрика Зингано

Я не знаю, как сейчас наша литературная критика относится к этой теме. Многие важные книги в нашей литературной традиции были впервые напечатаны в Европе, например, произведения эпохи модернизма, из-за отношений между колонией и империей...

Ирине Беридзе

Грузинская словесность и грузинские писательницы и писатели пока с точки зрения глобальной литературной сети находятся в начале пути, поскольку миграционная динамика стала осязаемой практикой только после распада СССР, когда

люди, включая деятелей культуры, получили возможность ездить по миру и узнавать его. Конечно, в 1920-х годах после Октябрьской революции на Запад пошла большая волна изгнанников из кавказских республик. Париж и Берлин были, без сомнений, ключевыми точками на карте, но я думаю, что в Грузии только сейчас можно наблюдать за началом этого увлекательного литературного процесса.

Много ли известных и признанных авторов, пишущих на вашем родном языке, которые живут за границей?

Стефани Люкс

Я не создавала подобную карту, но иногда я вижу [что автор живёт за границей] на обложке книги... Например, Мари Ндьяй долго жила в Берлине, а Виржини Депант в — Барселоне, в двух городах, которые, кажется, имеют определённую привлекательность для пишущих.

Изаскун Грасиа

В мире есть много авторов, пишущих на испанском, но не так много — на баскском.

Катерина Ритц-Ракуль

Сразу вспоминается Татьяна Малярчук, которая уже некоторое время пишет не только по-украински, но и по-немецки. Её роман «Забуття» вышел в переводе на немецкий язык (под названием *Blauwal der Erinnerung*) в 2019 году.

Ирена Карпа живет в Париже, Василь Махно — в Нью-Йорке, Ксения Фукс — в Штутгарте.

Дополнение. Евгения Лопата

Олесь Ильченко (Швейцария), Игорь Померанцев (Чехия), Галина Петросяняк (Швейцария), Эмма Андиевска (Германия), Андрий Курков (Лондон).

Каролина Голимовска

Уже есть несколько человек, и я боюсь, что их будет больше — тех, которые ищут пристанище в другом месте. В Берлине есть несколько важных литературных имён, в основном женщин. Это я нахожу очень примечательным, и это, возможно, показательно для общего присутствия женщин в истории польской литературы.

Эрика Зингано

Возможно, сейчас их больше, потому что некоторые люди покидают страну по политическим причинам... Мы живём в чрезвычайно сложный период нашей истории. Но повторю, лично я имён я вспомнить не могу. Я знаю некоторых моих коллег, поэтов, которые и раньше жили за границей...

Ирине Беридзе

Таких авторов, которые живут за границей, но продолжают писать по-грузински, без сомнений, большинство. В Берлине есть отличные примеры этого. Заза Бурчуладзе (его романы выходят в издательстве *Aufbau*) уже много лет живёт в Берлине, публикуясь на грузинском языке. Немецкие переводы его книг выходят одновременно с оригиналами на грузинском. Так сливаются воедино оба культурных пространства: немецкая и грузинская аудитории могут практически параллельно знакомиться с текстами.

Важнейший представитель грузинской литературы — Ака Морчиладзе — уже давно живёт в Лондоне, однако также в своих текстах остаётся неизменно верным грузинскому языку. Однако ядро грузинской современной литературы сейчас создаётся «на месте» — в Грузии, в изначальном контексте.

Как вы чувствуете себя в качестве автора/литературной активистки за рубежом?

Стефани Люкс

Сейчас, конечно, легче, хотя я скушаю по широкому ассортименту французских книжных магазинов и сталкиваюсь здесь в качестве переводчицы лишь с частью литературного сообщества. Но многое возможно в цифровом пространстве, как показывает, например, проект *Hôtel des Autrices vom Réseau des Autrices*, который вскоре будет запущен и уже нашёл партнеров для международного сотрудничества (культурные учреждения во Франции, Швейцарии и Квебеке).

Изаскун Грасиа

Часто бывает сложно найти издательство и справиться со всем процессом (публикации, презентации, чтения, информирование о книге). Издатели обычно предпочитают, чтобы их

авторы не жили за границей, потому что организовать чтения, презентации книги, интервью и прочее в этом случае гораздо сложнее. Существует еще много предубеждений — некоторые СМИ не заинтересованы в авторах, которые живут далеко или не дают телефонных или онлайн-интервью...

С другой стороны, поскольку я нахожусь за границей, я могу всё проанализировать с другой точки зрения (литературный рынок, свою страну, свой культурный опыт и традиции), и это влияет на меня и оказывает вдохновляющее воздействие на моё письмо. Ещё большее влияние на меня оказывают авторы, которые приезжают из всех возможных стран, и я должна каждый день говорить на других языках. Это изменило и мой стиль, потому что я чувствую себя гораздо свободнее и могу играть со своим родным языком и культурными отсылками.

Катерина Ритц-Ракуль

Я публицист, опубликовала две книги в жанре нон-фикшн в качестве соавтора и работаю в основном устным и письменным переводчиком. Я не чувствую себя писательницей, поэтому не могу ответить на этот вопрос.

Каролина Голимовска

Мне трудно публиковать свои прозаические тексты на немецком языке. Попасть в польские издательства из-за рубежа тоже непросто. Поэтому часто я чувствую себя где-то посередине и помещаю неопубликованные тексты в виртуальный ящик в своём компьютере — надеясь, что в какой-то момент они увидят свет, и всё ещё будут мне нравиться.

Позиции иностранца в новой обстановке я, к сожалению, давно потеряла, но долгое время находила эту точку зрения на мир очень вдохновляющей, в духе Ричарда Сеннетта, который приписывал чужаку возможность оспаривания общественных правил и норм: «Несмотря на свою способность подвергать сомнению правила этого общества, иностранец может также получить другое знание через своё собственное изгнание, в котором отказано тем, кто остается дома» (из сборника эссе об изгнании *The Foreigner*, 2011).

Юлия Кристева писала об иностранном языке как о второй коже, новой идентичности, способной изменить отноше-

ние к родному языку — я тоже часто чувствую это, где-то между языками, контекстами и идиомами.

Мне, например, очень нравится проза Владимира Набокова, мне нравится, как он выстраивает своих героев. Я часто думаю о новом стиле письма, который он нашёл в отчуждении от языка, и о том, что в какой-то момент он сменил язык и писал уже не по-русски, а только по-английски, и только тогда стал по-настоящему успешным.

Эрика Зингано

О, это непростой вопрос! У меня было много разных чувств, пока я жила за границей. Это был важный период в моей жизни, который помог мне осмыслить некоторые мои отношения, как семейные, так и исторические — моей страны с Европой. Я решила вернуться, потому что устала постоянно жить в другой культурной реальности, с другим языком, людьми, привычками, всем! И мне нужно дальше учиться. Я очень рада, что я здесь, хотя это и сложно с политической и экономической точек зрения. Я не представляю, как бы я жила там во время пандемии. Я скучала по своей стране. Пока я жила за границей, в Бразилии произошли определённые политические события, которые очень важны для её современной истории, и, живя здесь, я чувствую себя ближе к этой стороне жизни.

Ирине Беридзе

Я как литературовед и культуролог из Грузии преследую чёткую цель, а именно — ближе познакомить широкую немецкоговорящую публику с грузинской литературой. Мне кажется, в Германии всё ещё не хватает сконцентрированного и заинтересованного взгляда на центрально- и восточноевропейские литературы. Наш блог *Read Ost* появился также благодаря убеждённости, что небольшие постсоветские страны со своими уникальными культурными и литературными традициями заслуживают большего соответствующего внимания и признания здесь, в Германии. Я думаю, что благодаря выступлению Грузии на Франкфуртской книжной ярмарке в этот процесс был заложен крепкий фундамент, однако самый большой вызов в том, чтобы и в будущем поддерживать этот интерес. 

Zusammenfassung

In der zweiten Ausgabe von „Berlin.Berega“ im Jahre 2020 finden Sie:

Gedichtsammlungen von **Ewgeni Gorodetski** (Dortmund), **Elizaveta Kuryanovich** (Frankfurt a.M.), **Anzhelika Astakhova**, **Dmitri Dragilew**, **Mikhail Khokhlov**, **Juliana Obynochnaya** (alle Berlin), **Lena Berson** (Israel).

Einen längeren Auszug aus dem Roman „Esra“ des bekannten deutschen Schriftstellers **Maxim Biller** (Berlin).

Erzählungen: Drei Geschichten zur Verlesung von der Bühne von **Michael Schleicher**: „Rakete der Art *d-Moll*“ von **Daniil Benditski**, „Ruppen im Kopf“ von **Elena Koroleva**, „Geschichte eines Überläufers“ von **Vitaly Kropman**, „Trainingshose“ von **Marina Solnzewa**.

Noch Einen weiteren Text, und zwar „Frau Boule de suif“ von **Zinoviï Sagalov**. Der Augsburgsburger Schriftsteller und Dramatiker Sagalov verstarb im September dieses Jahres kurz vor seinem 90. Geburtstag.

Übersetzungen von **Frank Wedekinds** Erzählung „Die Schutzmimpfung“ (besorgt von **Olga Mishchenko**, Bonn), Lyrik von **Rainer Maria Rilke** (**Irina Ivanova**, Nischni Nowgorod, Russland) und zwei verschiedene Varianten einer Übersetzung von **Kurt Tucholskys** „Danach“ (**Sergej Strakhov**, **Ljudmila De Witt**, beide Kiel).

Drei Essays, die Gewinner des Literaturwettbewerbs von „Berlin.Berega“ zum 250. Geburtstag von **Ludwig van Beethoven** wurden: „Der einsame Ruf einer Trompete“ von **Nelli Shulman** (Berlin), „Musik für immer“ von **Sergej Strakhov** und „Das Metronom der Ewigkeit“ von **Sina Stambler** (Kiel).

Einen Beitrag über die amerikanische Dichterin **Louise Glück**, der 2020 der Nobelpreis verliehen wurde. Der Beitrag stammt von Dr. phil. Prof. **Olga Polovinkina** (Moskau). Ihn begleiten neue Übersetzungen der Texte Glücks, die von **Slava Kovalsky** (Kanada) besorgt wurden.

Filmkritiken von **Vera Kolkutina**. In der „Rundschau“ geht es um deutsche Horrorfilme, mit zahlreichen Beispielen.

Eine Bücherrundschau von **Irina Murg**. Sie bespricht neue deutsche Bücher, in denen es über um die nähere Zukunft geht: die Romane von **Emma Braslavsky**, **Artir Dziuk**, **Thore Hansen**, **Juan Guse**, **Josefine Rieks**, **Olga Grjasnowa**, **Helmut Krausser**, **Roman Ehrlich** und **Laura Lichtblau**.

Rezensionen von **Maya Pait** (**Peter Michalzik**: „Die Liebe in Gedanken. Die Geschichte von **Boris Pasternak**, **Maria Zwetajewa** und **Rainer Maria Rilke**“), **Elena Levchenko** (**Katerina Poladjan**: „Hier sind Löwen“), **Nina Kalas** (**Mikhail Gigolaschwili**: „Tolmach“), **Marina Rosina** (**Maxim Biller**: „Wer nicht glaubt, schreibt“).

Ein Rundgespräch mit Vertreterinnen von sechs Sprachen, die weder aus Deutschland noch aus Russland stammen, sondern in Deutschland leben und schreiben. Über die Lage der Literatur in ihren Sprachen im Ausland erzählen **Stéphanie Lux** (geb. in Frankreich), **Izaskun Gracia** (geb. in Baskenland, Spanien), **Kateryna Rietz-Rakul** (geb. in der Ukraine), **Karolima Golimowska** (geb. in Polen), **Érica Zingano** (geb. in Brasilien) sowie **Irine Beridze** (geb. in Georgien).

Информация о подписке на литературный журнал «Берлин.Берега»

Для подписки на журнал или покупки отдельных экземпляров просьба отправить запрос на электронный адрес **berlin.berega@gmail.com**

Печатная версия

Актуальный номер: **13,- €.**

Подписка на **2021** год: **24,- €.**

Каждый ранее вышедший номер (просьба уточнять наличие): **10,- €.**

Все цены указаны **для Германии**. Пересылка **включена**. При заказе из других стран просьба уточнять стоимость пересылки в редакции.

Электронная версия

Европейский Союз, Россия

Актуальный номер: **3,5 €/100 руб.**

Подписка на **2021** год: **6,- €/150 руб.**

Каждый ранее вышедший номер: **2,5 €/70 руб.**

Украина, Беларусь, Казахстан,

Актуальный номер: **20 гривен/1,5 рублей/200 тенге**

Подписка на **2021** год: **35 гр./2,5 руб./300 тенге**

Каждый ранее вышедший номер: **15 гр./1 руб./150 тенге**

Израиль, США

Актуальный номер: **10 шекелей/3,5 \$**

Подписка на **2021** год: **15 шекелей/6,- \$**

Каждый ранее вышедший номер: **8 шекелей/2,5 \$**

ФРАГМЕНТЫ

Читайте в этом номере

Я как во сне, как в трансе —
влюблена, но
ничего не хочу.
Не вижу нужды прикасаться к тебе,
и незачем встречаться снова.

*Луиза Глик,
лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 г.
(перевод С. Ковальского)*

Будущее в художественной литературе остаётся сказкой и вымыслом,
инструментом и катализатором. Настоящее — намного страшнее;
по прони то, что сейчас происходит, не чем иным как фантастической
реальностью не назовешь, но в ней приходится жить.

Ирина Мурз

Я вовсе не отношусь к тем, кто всё время что-то записывает и каждую
секунду своей жизни по плану расписывает под будущие рассказы и
романы — и тем не менее я вовсе не хочу, чтобы кто-то мне предписывал,
о чём я могу писать, а о чём нет. Это же то же самое, как если бы кто-
нибудь лишил меня воздуха, и я бы больше не мог дышать

Максим Биллер

